

Валентина

Автор:

Жорж Санд

Валентина

Жорж Санд

Провинциалка Валентина, юная наследница графского титула и завидного состояния, становится невестой красавца графа, но сердце отдает простому бедному юноше. Она не может противиться своему чувству, однако пренебречь циничными и лживыми законами общества ей не позволяет чистая, благородная душа и чувство долга. Какой выбор сделает девушка и принесет ли он ей счастье?

Жорж Санд

Валентина

First edition published Librairie Blanchard Edition J. Hetzel Librairie Marescq et Cie, Paris, 1832

Перевод с французского: «Valentine» by George Sand

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2009, 2012

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2009

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Предисловие

«Валентина» – мой второй роман, он опубликован после «Индианы», которая имела неожиданный успех. В 1832 году я вернулся в Берри, где большим удовольствием для меня стало описание природы, знакомой мне с детства. Еще в ту пору я чувствовал потребность описывать ее, но в силу странных закономерностей, свойственных глубинным движениям души, как раз то, что просится на бумагу, страшнее всего представить на суд читателя – и в плане нравственном, и как плод интеллектуальных усилий. Ничем не выдающийся уголок Берри, мало кому известная Черная долина, этот не поражающий воображение пейзаж, тем не менее дорог моему сердцу. Здесь освятились мои первые, ставшие неотступными, мечтания. Минуло двадцать два года с тех пор, как я жил под этими искалеченными деревьями, у этих ухабистых дорог, среди этого привольно разросшегося кустарника, вблизи ручейков, по берегам которых не страшатся бродить лишь дети да стада животных. Все это очаровывало только меня одного, так стоило ли открывать его взорам равнодушных? К чему срывать покров таинственности с этого неприметного края, где нет живописных, покоряющих раздольем ландшафтов, где не случилось великих исторических событий, которые могли бы привлечь сюда если не исследователей, то хотя бы любопытных? В каком-то смысле Черная долина – это я сам; так обрамление моей жизни несколько не похоже на великолепное убранство и не создано для того, чтобы пленять взоры людей. Знай я, что мои произведения найдут такой отклик, думаю, я бережно, как святыню, хранил бы этот край, который до меня, быть может, никогда не привлекал ни помыслов художника, ни мечтаний поэта. Но я не знал и даже не думал об этом. Я не мог не писать, и я писал. Я поддался

тайным чарам, которыми был напоен родной воздух, обвевавший меня чуть не с колыбели. Описательная часть моего романа понравилась. Фабула же вызвала весьма резкую критику, в основном относительно пресловутой антиматримониальной доктрины, которую я, по всеобщему утверждению, начал проповедовать в «Индиане». И в первом и во втором романе я показывал, какие опасности несут опрометчиво заключаемые браки. Критики вообще считают, что я, может и невольно, проповедую учение Сен-Симона[1 - Сен-Симон Анри-Клод (1760–1825) – французский философ, один из основоположников утопического социализма.]. Однако я лишь начал задумываться над причинами социальных недугов. Я был слишком молод и умел только лишь видеть и запечатлевать факты. Возможно, этим бы я и ограничился, учитывая мою природную леность, если бы не любовь к внешнему миру, которая одновременно и счастье и беда людей искусства. Однако же именно критика, пусть и чересчур прямолинейная, побудила меня задуматься и глубже вникнуть в первопричины явлений, меж тем как до сих пор я видел лишь их последствия. Но меня с таким ядовитым сарказмом осуждали за то, что я корчу из себя вольнодумца и философа, что в один прекрасный день я спросил себя: «А уж не предаться ли мне и в самом деле философии?»

Жорж Санд.

Париж,

27 марта 1852 г.

Часть первая

1

На юго-востоке Берри есть места – всего несколько лье в окружности и ни с чем не сравнимого очарования. Их пересекает тракт Париж – Клермон, земли вдоль которого заселены, и вряд ли путешественник может заподозрить, что по соседству расположены красивейшие ландшафты. Но если путник, жаждущий

тишины и сени, свернет на одну из многочисленных тропок, отходящих от тракта и прихотливо вьющихся среди высоких холмов, то уже через несколько шагов он обнаружит прохладу и мирный пейзаж, светло-зеленые луга, меланхоличные ручейки, купы ольхи и ясеня, словом – пленительную девственную природу пасторалей. И вряд ли ему удастся на протяжении многих лье увидеть каменный дом, крытый шифером. Разве что тоненькая струйка голубоватого дымка, дрожа и расплываясь в воздухе, поднимется над зелеными кронами, извещая о близости соломенной кровли. А если позади пригорка, густо поросшего орешником, он заметит шпиль церквушки, то через несколько шагов взору его откроется деревянная колоколенка с изъеденной мхом черепицей, десяток далеко отстоящих друг от друга домиков, окруженных плодовыми садами и конопляниками, ручей, через который переброшены три бревна вместо моста, кладбище – всего один квадратный арпан[1 - Арпан – старинная французская единица измерения длины, равняющаяся 180 парижским футам, то есть примерно 58,52 м.] земли, обнесенный живой изгородью, четыре вяза, посаженные в шахматном порядке, развалины башни. Словом, он обнаружит то, что в здешнем краю именуют селением.

Ничем не нарушаем покой этих глухих деревенок. Сюда еще не проникли ни роскошь, ни искусства, ни ученая страсть к исканиям, ни сторукое чудище, именуемое промышленностью. Революции прошли здесь почти незамеченными, а последняя война, малоприметные следы которой хранит здешняя земля, была войной гугенотов с католиками[2 - ...Война гугенотов с католиками. – Гугеноты – сторонники кальвинизма во Франции в XVI–XVIII вв., приверженцы одного из течений религиозной реформации. Религиозные войны гугенотов с католиками происходили в 1562–1594 годах и в конце концов привели к изгнанию гугенотов и почти полному искоренению протестантства во Франции.]. Впрочем, воспоминания о ней поблекли, выветрились из памяти людской, и на ваши расспросы местные жители ответят, что происходило все это по меньшей мере две тысячи лет назад. Главная добродетель сего племени хлебопашцев – полнейшее равнодушие ко всяким древностям. Смело обойдите этот край вдоль и поперек, молитесь его святым, пейте воду из его колодцев, нисколько не опасаясь выслушать неизбежные рассказы о феодальных временах или, на худой конец, легенды о местных чудотворцах. Степенный и замкнутый нрав крестьянина – одно из главных очарований этого края. Ничему он не удивляется, ничто его не привлекает. Он даже головы не повернет, когда вы вдруг возникнете перед ним на тропке, и, если вы спросите у него дорогу в город или на ферму, он вместо ответа хитро улыбнется, как бы говоря, что такими незатейливыми шуточками его не проведешь. Беррийский крестьянин не может поверить, что человек идет куда-то и сам не знает толком куда. Разве что его

пес соблаговолит побрехать вам вслед, детишки попрячутся за изгородь, лишь бы не стать мишенью ваших взглядов или ваших расспросов, а самый крохотный, не поспевший за скрывающимися стремглав братьями, непременно шлепнется от страха в канаву и завопит во все горло. Но самым невозмутимым действующим лицом будет огромный белый вол, неизменный старейшина всех пастбищ: он оценивающе уставится на вас из зарослей, а за ним замрут его собратья быки, потревоженные вашим вторжением, не такие степенные и настроенные поэтому менее благожелательно.

За исключением этой первой прохладной встречи, к чужеземцу местный хлебопашец, в общем, добр и гостеприимен, как и здешние мирные рощицы, поля и благоуханные луга.

Местность, лежащая меж двух небольших речушек, примечательна густой растительностью мрачной окраски, за что и дано ей название Черная долина. Все ее немногочисленное население проживает в разбросанных по долине хижинах и на нескольких доходных фермах. Наиболее крупная из них носит название Гранжнев, но и здесь все очень скромно и не выделяется на фоне столь же неприветливого пейзажа. Ведет к ней кленовая аллея, и рядом с деревенскими хижинами протекает Эндр, который здесь не шире простого ручейка и тихо вьется среди камышей и желтых диких ирисов.

Первое мая у жителей Черной долины считается праздничным днем[3 - ...Первое мая у жителей Черной долины считается праздничным днем... - Обычай праздновать первое мая в Западной Европе очень древнего происхождения: он восходит к празднику весны и возрождения природы. Праздник этот заключался в плясках и играх молодежи вокруг разукрашенного «майского дерева» и в выборе из числа самых красивых юношей и девушек майского короля и майской королевы.], и в таких случаях гуляние неизбежно. В дальнем конце долины, примерно в двух лье от центральной ее части, где и находится Гранжнев, устраивается деревенское гуляние, на которое, как положено, устремляется вся округа, начиная с супрефекта департамента[4 - ...начиная с супрефекта департамента... - Деление территории Франции на департаменты (взамен старого - на провинции) было установлено в эпоху французской революции. Департамент представлял меньшую территориальную единицу, чем провинция. Во время консульства Наполеона местное самоуправление департаментов было ликвидировано, во главе их были поставлены назначаемые центральной властью префекты, а во главе округов, на которые делились департаменты, - супрефекты, осуществлявшие только исполнительную власть под

непосредственным руководством и наблюдением префектов.] и кончая красоткой швеей, еще с вечера наплоившей жабо его превосходительству; там можно увидеть и благородную владелицу замка, и последнего овчара (местное словечко!), чья коза да барашек живут за счет господских изгородей. Все это ест на лужайке, танцует на лужайке, с большим или меньшим аппетитом, с большим или меньшим пылом; все это сходится сюда, чтобы показать свою коляску или своего осла, кто в рогатом чепчике, кто в шляпке из итальянской соломки, кто в деревянных сабо, кто в туфельках из турецкого атласа, кто в шелковом платье, а кто и в юбке из холстины. Это счастливый день для местных красавиц, день нелицеприятного суда, оценки женской красоты, когда при безжалостном свете яркого солнца довольно сомнительным салонным прелестям приходится выдерживать нелегкое состязание со свежестью, здоровьем, сияющей молодостью сельских девиц. Ареопаг состоит из судей мужского пола различного положения и ранга, прения сторон происходят под звуки скрипки, в облаках пыли, под перекрестным огнем взглядов. Собравшиеся становятся свидетелями многих заслуженных триумфов, спрятанных обид, разрешения затянувшихся тяжб, и все это не лишено жеманства. День сельского праздника, первое мая, здесь, как и по всей Франции, – великий повод для тайного соперничества между дамами из соседнего городка и принарядившимися поселянками из Черной долины.

В этот день Гранжнев с самого раннего утра превратился в грозный арсенал наивных обольщений. В просторной низкой комнате, куда свет проникал в окна с частым переплетом, где стены были оклеены обоями ярких тонов, что никак не вязалось с почерневшими от копоти балками потолка, с массивными дубовыми дверями и неуклюжим ларем, совершалось некое действие. В этом скромно обставленном помещении, где довольно изящная современная мебель лишь подчеркивала классический деревенский стиль, господствовавший здесь со дня основания фермы, вертелась перед зеркалом в золоченой раме хорошенькая шестнадцатилетняя девушка, в последний раз поправляя свой скорее богатый, чем изящный туалет, и, казалось, даже тусклое зеркальное стекло нарочито клонится вперед, чтобы полюбоваться такой красотой. Но Атенаис, единственная наследница славного фермера, была так юна, так румяна, так радовала глаз своей прелестью, что казалась грациозной и естественной даже в этом чересчур пышном наряде. Пока она в десятый раз оправляла складки своего тюлевого платья, ее мать, присев перед дверью и засучив по локоть рукава, замешивала в бадье отруби с водой, а вокруг в благоговейном ожидании часа кормежки выстроилась рядами большая компания уток. Живой и игривый солнечный луч, проскользнув в открытую дверь, упал на разряженную румяную прелестную девицу, ничуть не похожую на свою дородную загорелую матушку,

одетую в платье из грубой шерстяной ткани.

Из дальнего угла комнаты за Атенаис молча наблюдал юноша в черном костюме, небрежно развалившийся на кушетке. Но лицо его отнюдь не выражало той по-детски несдерживаемой радости, которая сквозила в каждом движении девушки. Время от времени еле заметная насмешливая и снисходительная улыбка трогала его тонкие нервные губы.

Господин Лери, или просто дядюшка Лери, как обычно и по сей день величали его крестьяне, кому он долгое время был ровней и с кем приятельствовал, теперь мирно сидел в сторонке, грея обутые в белые чулки ноги у очага, где, по деревенскому обычаю, в любое время года жгли хворост. Этот почтенный, еще вполне бодрый отец семейства щеголял в полосатых штанах, жилете в цветочек, длинном сюртуке. Волосы его были заплетены в косичку – отголосок стародавнего кокетства, который постепенно исчезает из употребления по всей Франции. Но Берри меньше прочих провинций пострадала от покушений цивилизации, и даже в наши дни верные косичке беррийцы, особенно из сословия землепашцев, – полубуржуа-полудеревенщина – не признают иной прически. В дни их юности косичка была попыткой приобщиться к аристократическим замашкам, и ныне они сочли бы себя униженными, лишись этой социальной привилегии. Дядюшка Лери стойко защищал свою косичку от атак насмешницы дочери и, будучи нежнейшим из отцов, выполнял любые капризы Атенаис, отказывая ей только в этом.

– Да ну же, матушка, – сказала Атенаис, поправляя золотую пряжку муарового пояса, – когда же ты кончишь кормить своих уток? Ведь ты еще не одета. Так мы никогда не выберемся.

– Терпение, дочка, терпение, – ответила тетушка Лери, раздававшая с похвальным прилежанием корм птице. – Пока будут запрягать Любимчика, я сто раз успею одеться. Да не столько же мне возиться, как тебе, дочка! Я, слава те Господи, не молоденькая, да и в молодые годы не было у меня ни времени, ни денег принарядиться. Я по два часа перед зеркалом не вертелась!

– Что ж, вы меня упрекать решили? – надувшись, проговорила Атенаис.

– Нет, дочка, и не думаю, – возразила старуха. – Веселись, наряжайся, дитя мое, живем мы в достатке, пользуйся плодами родительских трудов. Нам, старикам,

богатство уже ни к чему... А главное, когда привыкнешь к бедности, трудно отвыкать. За свои денежки я могла бы барыней сидеть, да нет, не выходит: все в доме должна своими собственными руками переделать... Но ты, дочка, веди себя как знатная дама, не зря мы тебе дали подходящее воспитание – такова была воля твоего батюшки. Тебе батрак неровня, и твой муж небось будет рад-радешенек, что возьмет такую белоручку.

Вычищая бадью, тетушка Лери продолжала разглагольствовать не так убедительно, как пылко, и под конец улыбнулась юноше, вернее, изобразила улыбку. Тот сделал вид, что ничего не замечает, а дядюшка Лери, созерцавший пряжки своих полуботинок в состоянии блаженного бездумия, столь милого сердцу отдыхающего крестьянина, поднял слипающиеся глаза к своему будущему зятю, как бы желая порадоваться вместе с ним. Но будущий зять, стремясь уклониться от этой безмолвной учтивости, поднялся, прошел в другой конец комнаты и обратился к мадам Лери:

– Не пора ли запрягать лошадь?

– Иди, сынок, иди, пожалуй. Я вас не задержу, – ответила сладкоречивая старушка.

Племянник уже подошел к двери, как вдруг на пороге показалось новое, пятое действующее лицо, чей внешний облик и костюм резко отличались от внешности и нарядов обитателей фермы.

2

То была невысокая худенькая женщина, и на первый взгляд ей можно было дать лет двадцать пять. Однако тот, кто пригляделся бы к ней внимательнее, дал бы ей все тридцать, если не больше. Ее тонкая, туго стянутая талия была по-девичьи гибкой, но миловидное лицо благородных очертаний несло печать горя, которое старит сильнее, нежели годы. Небрежный наряд, гладкая прическа и отрешенность свидетельствовали о том, что она не собирается на праздник. Но в ее крохотных туфельках, в ее изящном и скромном сером платье, даже в белизне шеи, в размеренной, легкой походке чувствовалось больше аристократизма, чем во всех драгоценностях Атенаис. И тем не менее эту особу,

внушавшую невольное уважение, при появлении которой все присутствующие оставили свои дела, обитатели фермы называли без церемоний мадемуазель Луиза.

Она ласково пожала руку тетушке Лери, поцеловала в лоб Атенаис и дружески улыбнулась юноше.

- Долгой ли, милая барышня, была ваша прогулка этим утром? - спросил дядюшка Лери.

- Нет, вы только угадайте, куда я осмелилась пойти! - отозвалась мадемуазель Луиза и, не чинясь, присела рядом со стариком.

- Неужели до замка? - быстро спросил племянник.

- До самого замка, Бенедикт, - подтвердила Луиза.

- Какая неосторожность! - воскликнула Атенаис и, перестав взбивать букли, с любопытством подошла к говорившей.

- Почему же, - возразила Луиза, - ведь вы сами говорили, что всех прежних слуг рассчитали, кроме старой кормилицы. А встретить я ее, она наверняка не выдала бы меня.

- Но ведь вы могли встретиться с самой мадам...

- Это в шесть-то часов утра? Да мадам раньше полудня не встает.

- Значит, вы поднялись до света? - спросил Бенедикт. - То-то мне показалось, будто я слышал, как открылась садовая калитка.

- Но мадемуазель всегда встает ранехонько, она у нас хлопотунья. А если бы она вам встретила?

- Ах, как бы я этого хотела! - воскликнула Луиза. - Но я все равно не буду знать покоя, пока не увижу ее, пока не услышу ее голоса... Вы ведь ее знаете, Атенаис, скажите же мне - хороша ли она, добра ли, похожа ли на своего отца?..

– Она куда больше похожа на кое-кого другого, – ответила Атенаис, приглядываясь к Луизе, – а значит, и добрая, и красивая.

Лицо Бенедикта просветлело, и он с благодарностью взглянул на свою невесту.

– Послушайте меня, – продолжала Атенаис, обращаясь к Луизе, – если вам так уж хочется видеть мадемуазель Валентину, пойдите с нами на праздник. Мы вас отведем к нашей кухне Симоне – это прямо на площади, и оттуда вы увидите дам из замка. Мадемуазель Валентина заверила меня, что они непременно будут.

– Но, милая моя Атенаис, это невозможно! – возразила Луиза. – Стоит мне сойти с двуколки, и все меня сразу узнают или догадаются, что это я. Впрочем, из всей семьи я хочу видеть лишь ее одну, а присутствие остальных только испортит мне настроение. Но хватит говорить о моих планах, давайте лучше поговорим о ваших, Атенаис; я вижу, вы намерены сразить всю округу своей свежестью и красотой!

Юная фермерша вспыхнула от удовольствия, бросилась на шею Луизы, и в этом порыве чувствовалась простодушная радость оттого, что ею любуются.

– Сейчас пойду принесу шляпку, – сказала она. – Вы мне поможете ее надеть, хорошо?

И она быстро взбежала по деревянной лестнице на верхний этаж, где была ее спальня.

Тетушка Лери тем временем вышла в соседнюю комнату, чтобы переодеться, а ее супруг, взяв вилы, пошел на скотный двор – дать скотнику работу на день.

Оставшись наедине с Луизой, Бенедикт подошел к ней и произнес вполголоса:

– Вы тоже портите Атенаис. Ведь вы единственная, кто мог бы делать ей хоть изредка замечания, но вы не считаете нужным их делать...

– В чем же можно упрекнуть это бедное дитя? – удивленно спросила Луиза. – На вас не угодишь, Бенедикт.

- Все мне это говорят, в том числе и вы, мадам, но вы могли бы понять, что нрав и нелепые причуды этой юной особы причиняют мне немало мук!

- Нелепые? - повторила Луиза. - Разве вы не влюблены в нее?

Бенедикт не ответил; он замолк, но после недолгого колебания заговорил снова:

- Согласитесь же, что сегодняшней ее туалет чересчур вычурный. Отправиться на сельский праздник в бальном платье, плясать на жаре, в пыли в шелковых туфельках, в кашемире и с перьями на шляпке! Я уже не говорю о совершенно неуместных в данном случае драгоценностях, на мой взгляд это совсем дурной вкус. Девушка в ее годы должна превыше всего ценить простоту и уметь украсить себя каким-нибудь пустячком.

- Разве Атенаис виновата, что получила такое воспитание? Обращать внимание на подобные мелочи! Постарайтесь-ка понравиться ей, сумеете завладеть ее умом и сердцем. И тогда, можете не сомневаться, ваши желания станут для нее законом. Но вы постоянно оскорбляете ее, противоречите ей, ей - всеобщей любимице, ей - королеве в доме! Вспомните-ка, какое у нее доброе, чувствительное сердце...

- Сердце, сердце! Разумеется, у нее доброе сердце, но зато какой ограниченный ум! Доброта дана ей природой, доброта эта, если хотите, растительного происхождения. Так овощи, растут ли они хорошо или совсем не растут, сами не знают причины того. А до чего же мне неприятно ее кокетство! Придется вести ее под ручку, прогуливаться с ней взад и вперед перед всеми собравшимися на празднике, выслушивать дурацкие комплименты одних и столь же дурацкие насмешки других! Какая тоска! Как бы мне хотелось, чтобы мы уже вернулись с праздника!

- Что за поразительный характер! Бенедикт, я вас просто не понимаю. Любой другой на вашем месте гордился бы тем, что может показаться на людях с самой красивой девушкой в округе, с самой богатой невестой из местных, гордился бы тем, что возбуждает зависть двух десятков соперников, оставшихся с носом, что имеет право назвать ее своей нареченной. А вы, вы только критикуете ее мелкие недостатки, свойственные всем юным девицам такого происхождения, несмотря на полученное воспитание. Вы вменяете в вину Атенаис то, что она поддерживает тщеславные устремления родителей, на самом деле совершенно

безобидные, и уж кому-кому, но не вам выказывать свое недовольство!

– Знаю, знаю, – живо отозвался юноша, – знаю, что вы мне скажете. Они не по обязанности и не принуждению дали мне все. Приютили меня, их племянника, сына такого же крестьянина, как они сами, но бедняка; усыновили меня, сироту неимущего, и, вместо того чтобы сделать из меня пахаря, к чему, казалось бы, я предназначен самим общественным устройством, – отправили на свои средства в Париж, дали мне возможность учиться, превратили в горожанина, в студента, в красную и, сверх всего, еще предназначили мне в жены свою дочь с богатым приданым, гордячку и красавицу. Они берегут ее для меня, предлагают в невесты! О, без сомнения, они очень меня полюбили, мои родичи, это люди простые и щедрые! Но любовь слепа, и все то добро, которое они желали мне сделать, обратилось во зло... Будь проклято это вечное стремление метить выше, чем способен попасть!

Бенедикт в сердцах топнул ногой. Луиза посмотрела на него печально и строго.

– То ли вы говорили вчера, возвращаясь с охоты, благородному дворянину, человеку невежественному и ограниченному, который отрицал блага воспитания и желал бы воспрепятствовать продвижению низших слоев общества? Сколько разительных доводов вы нашли в защиту распространения света и свободы для всех, желающих расти и достичь чего-то! Меня удивляет и огорчает, Бенедикт, что ум ваш переменчив, нестойк, капризен, что вы стремитесь все проанализировать и обесценить. Я боюсь за вас, боюсь, как бы хорошие семена не стали плевелами, боюсь, как бы вы не поставили себя значительно ниже или значительно выше полученного вами воспитания, а и то и другое – немалая беда.

– Луиза, Луиза! – прерывающимся голосом произнес Бенедикт, схватив руку молодой женщины.

Он так пристально смотрел на нее увлажнившимися глазами, что Луиза покраснела и недовольно потупилась. Бенедикт выпустил ее руку и, хмурясь, нервно зашагал по комнате, потом подошел к Луизе, стараясь подавить волнение.

– Зато вы чересчур снисходительны, – заговорил он, – вы прожили на свете больше, чем я, но мне представляется, что вы моложе меня. Вы много пережили, и чувства ваши благородны и великодушны, но вы не научились читать в чужой

душе, вы даже не подозреваете, какой она бывает подчас мелкой и уродливой, вы не придаете значения несовершенствам ближнего, возможно, просто их не видите! Ах, мадемуазель, мадемуазель! Слишком вы снисходительны, и слишком вы опасный наставник!..

– Вот уж странные упреки! – возразила Луиза с наигранной веселостью. – Но я ведь никого не пытаюсь воспитывать. Не твердила ли я вам десятки раз, что я столь же мало способна направлять других, как и самое себя? И это несмотря на то, что у меня жизненного опыта предостаточно.

Две слезинки скатились по щекам Луизы. Воцарилось молчание. Бенедикт подошел к молодой женщине и встал перед ней, взволнованный и трепещущий. Скрыв мимолетную грусть, Луиза заговорила:

– Вы правы, слишком долго я была поглощена собой и не научилась проникать в глубины чужой души. Целые годы я отдала страданиям и неудачно распорядилась собственной жизнью.

Тут только Луиза заметила, что Бенедикт плачет. Испугавшись того, что юноша не справится со своими чувствами, она указала рукой на двор, где дядюшка Лери собственноручно закладывал в бричку здорового пуатевенского коня, и жестом послала Бенедикта ему на помощь, но юноша не понял ее.

– Луиза! – пылко произнес он. Потом снова повторил ее имя, чуть понизив голос. – Какое славное имя, – продолжал он, – какое простое, нежное, и его носите вы, а моя кузина, самой природой созданная для того, чтобы доить коров и пасти овец, зовется Атенаис! Есть у меня еще одна двоюродная сестрица, так той дали при крещении имя Зораида, а своего малыша она нарекла Адемаром! Люди благородного происхождения правы, высмеивая наши причуды: они действительно невыносимы, разве не так? Взгляните-ка, вот прялка моей почтенной тетушки. Кто же наматывает на нее шерсть, кто в отсутствие тетушки будет терпеливо вращать ее? Уж конечно, не Атенаис! Она сочла бы для себя чуть ли не унижением даже прикоснуться к веретену; уметь делать что-то полезное в ее глазах почти что позор, ибо это может принизить ее, вернуть в то состояние, из какого она вышла. Нет, нет, она умеет, конечно, вышивать, играть на гитаре, рисовать цветы, танцевать, а вот вы, мадемуазель, вы умеете прясть, хотя и родились в роскоши, вы кротки, вы скромны, трудолюбивы... Слышите шаги? Сюда идет Атенаис. Не сомневаюсь, что, любуясь на себя в зеркале, она забыла обо всем на свете.

– Бенедикт! Идите же за шляпой! – крикнула с лестницы Атенаис.

– Идите же, – вполголоса проговорила Луиза, видя, что юноша даже не тронулся с места.

– Будь проклят этот праздник! – ответил он ей в тон. – Ладно, я поеду, но, высадив свою прелестную кухню на полянке, я скажу, что вывихнул ногу, и постараюсь вернуться на ферму... Вы будете здесь, мадемуазель Луиза?

– Нет, не буду, – сухо ответила она.

Бенедикт покраснел от досады и направился к двери. В эту минуту на пороге показалась тетюшка Лери, одетая менее пышно, чем дочка, но, пожалуй, еще более несуразно. Атлас и кружева невыгодно подчеркивали медный оттенок ее кожи, опаленной солнцем, резкие черты и деревенские повадки. Добрых пятнадцать минут Атенаис сердито устраивалась в двуколке, упрекала мать, что та слишком широко расселась и помяла ей оборки, и в душе сокрушалась, что родители еще не настолько потеряли голову, чтобы купить коляску.

Дядюшка Лери положил шляпу себе на колени, опасаясь, как бы при дорожных толчках она не слетела ненароком с головы. Бенедикт взобрался на козлы и, взяв вожжи, осмелился в последний раз посмотреть на Луизу, но, встретив ее ответный взгляд, холодный и суровый, опустил глаза, закусил губу и злобно хлестнул лошадь. Любимчик сразу пустился галопом по дорожным ухабам, отчего двуколка отчаянно запрыгала по колеям, угрожая дамским шляпкам и усиливая досаду Атенаис.

3

Но уже через два десятка шагов лошадка, не созданная для скачки, умерила ход, гневная вспышка Бенедикта сменилась стыдом и раскаянием, а дядюшка Лери тем временем погрузился в глубокий сон.

Теперь они ехали по узенькой, поросшей травкой дорожке, именуемой на местном наречии стежкой, по дорожке столь узкой, что даже двуколка

цеплялась боками за ветви росших по обочинам деревьев, и Атенаис ухитрилась нарвать большой букет боярышника, просунув ручку в белой перчатке сквозь боковое окошко их экипажа. Нет в человеческом языке таких слов, чтобы выразить всю свежесть и прелесть этих извилистых стежек, капризно вьющихся под сплошным покровом листвы, где с каждым поворотом перед путником открывается новая, еще более таинственная глубь, более заманчивый и укромный уголок. Когда на лугах каждый стебель высокой, стоящей стеной травы опалем полуденным зноем, а над лугами повисает неумолчное жужжание насекомых и перепел, укрывшийся в колее, призывает в любовном томлении подружку, – невольно кажется, будто прохлада и покой возможны только лишь на этих стежках. Можете шагать по ним час, другой – и не услышать иного звука, кроме шума крыльев дрозда, вспугнутого вашим появлением, или неспешных прыжков крохотной лягушки, зеленой и блестящей, как изумруд, за секунду до этого мирно дремавшей в люльке, сплетенной из травинки. Даже придорожная канава таит в себе целый мир живых существ, заросли разнообразных растений; ее прозрачные воды неслышно бегут по глинистому ложу, делающему их еще прозрачнее, и рассеянно ласкают растущие по берегам кресс, одуванчики и тростник. Здесь и фонтиналь – трава с длинными стеблями, именуемая водяными лентами, здесь и речной мох – лохматый, плакучий, беспрестанно подрагивающий в бесшумной круговерти; по песочку с лукаво-пугливым видом подпрыгивает трясогузка; ломонос и жимолость образуют тенистый свод, где соловей прячет свое гнездышко. По весне здесь все цветет, источая ароматы; осенью лиловые ягоды терновника плотно сидят на ветках, которые в апреле первыми оденутся в пышный белый наряд; красные ягоды, до которых так охочи певчие дрозды, приходят на смену цветам жимолости, а на кустах ежевики, рядом с клочками шерсти, оставленной проходившей мимо отарой, темнеют крохотные, приятные на вкус дикие ягоды.

Отпустив поводья, отдавшись на волю смирному рысаку, Бенедикт впал в глубокую задумчивость. Станный нрав был у этого юноши; поскольку невозможно было сравнить его с подобными ему молодыми людьми, окружающие не могли оценить его нрав и способности. Большинство презирало его как человека, не годного для полезного и серьезного дела. Если посторонние не выказывали юноше своего пренебрежения, то лишь потому, что вынуждены были признать за ним недюжинную физическую силу и знали, что он не прощает обид. Зато семейство Лери, люди простодушные и благожелательные, высоко ценили его за ум и ученость. Славные эти люди были слепы к недостаткам Бенедикта; в их глазах племянник страдал от избытка воображения и, будучи обременен знаниями, не мог обрести душевный покой. В двадцать два года Бенедикт еще не сумел овладеть тем, что зовется практическими навыками.

Попеременно сменяемый страстью то к искусству, то к наукам, он не приобрел в Париже никакой специальности. Работал он много, но как только дело доходило до практических знаний, к науке охладевал. На том этапе, когда другие начинали пожинать плоды своих трудов, он с отвращением уходил в сторону. Любовь к учению кончалась для него там, где начиналось ремесло с его неумолимыми требованиями. Стоило ему приобщиться к сокровищам искусства и науки, и он, не испытывая эгоистического чувства, не пытался настойчиво применить их к делу ради собственной выгоды. Поскольку он не умел приносить пользу даже самому себе, каждый, видя его праздным, не раз задавался вопросом: «На что он годен?»

С малых лет Атенаис была предназначена ему в невесты – таков был наилучший ответ завистникам, обвинявшим семейство Лери в том, что, разбогатев, они лишились сердечности и зашорили свой ум. Правда и то, что их здравый смысл, крестьянский здравый смысл, обычно непогрешимо верный, значительно поблек, подавляемый достатком. Они уже не ценили, как прежде, простые добродетели и после тщетных усилий искоренить их в себе постарались сделать все, дабы задушить их в зародыше у своих отпрысков. Но старики по-прежнему холили обоих детей, не отдавая предпочтения родной дочери, и, веря, что трудятся для счастья молодых, трудились для их гибели.

Такое воспитание принесло весьма богатые плоды – на беду Бенедикту и Атенаис. Подобно мягкому, послушному воску, Атенаис переняла в пансионе Орлеана все недостатки юных провинциалок: тщеславие, непомерное честолюбие, зависть, мелочность. Но сердечная доброта жила в ней, как священное наследие, доставшееся от матери, и никакие влияния не могли ее вытеснить. Поэтому-то смело можно было надеяться, что время и житейский опыт уберут издержки воспитания.

Более серьезный ущерб был нанесен Бенедикту. Воспитание не только не уняло его великодушных порывов – напротив, они развились сверх всякой меры, стали вызывать мучительную лихорадочную тревогу. Этот страстный характер, эта впечатлительная душа нуждались в упорядоченной системе идей, в умиротворяющих, обуздывающих принципах. Возможно, даже сельский труд и телесная усталость в какой-то мере дали бы выход избытку сил, дремавших в этой деятельной натуре. Свет цивилизации, развивший в человеке столько ценных качеств, пожалуй, в той же мере извратил их. Такова беда поколения, стоящего между теми, кто ничего не знает, и знающими чересчур много.

Лери и его супруга не догадывались, в каком опасном положении оказались молодые люди. Они не желали даже задуматься о том, чем это чревато в будущем и, не видя иной радости, кроме как одаривать близких, кичились в простоте душевной, что обладают наилучшим средством извести горести Бенедикта: по их мнению, то были хорошая ферма, красотка наследница и приданое в двести тысяч франков наличными на первое обзаведение. Но Бенедикт был нечувствительным ко всем этим щедрым дарам родственной любви. Деньги возбуждали в нем глубочайшее презрение – так проявлялся энтузиазм молодости, склонный все преувеличивать, легко менять принципы, а переменяв их, преклонять колени перед этим вновь созданным кумиром вселенной. Бенедикт чувствовал, что им владеют какие-то честолюбивые помыслы, однако считал, что они не связаны с деньгами, и, как обычно бывает у юношей, искал их удовлетворения в более возвышенной сфере.

Он и сам еще не знал своей главной цели, а пребывал в неясном и тягостном ожидании. Иной раз ему мерещилось, будто он познал эту цель, – живые образы завладевали его воображением. Но фантазии эти испарялись как дым, не принося с собой длительной радости и успокоения. Ныне он ощущал это ожидание как некий злой недуг, притаившийся в его груди, и ожидание терзало Бенедикта тем сильнее, чем меньше он сам понимал, чего именно ему ждать. Скука, эта страшная болезнь, какой поражено нынешнее поколение в большей степени, чем в какую-либо иную историческую эпоху, отметила судьбу Бенедикта еще в самую пору цветения; подобно черной туче, скука омрачала его будущее. Она иссушила в его душе самый бесценный дар молодости – надежду.

В Париже одиночество опостылело ему. И хотя, по мнению Бенедикта, оно было предпочтительнее общества людей, но, замкнутый в студенческой комнатухе, он ощущал, что чрезмерное одиночество становится пагубным для него – человека весьма энергичного. В конце концов оно отразилось на его здоровье, добросердечные опекуны совсем перепугались и отозвали Бенедикта из столицы. Уже через месяц яркий румянец на щеках свидетельствовал о несокрушимом здоровье юноши, однако сердце Бенедикта все сильнее сжимала тревога. Поэзия полей, сызмальства владевшая его душой, доводила почти до неистовства неосознанные желания, подтачивавшие его дух. Жизнь в родной семье, столь приятная и благотворная поначалу, чуть ли не до оскомины приедалась ему с каждым новым посещением деревни. Никак не тянуло его к Атенаис. Слишком непонятны были ей созданные его мечтами химеры, и мысль осесть здесь, жить среди сумасбродств или тривиальностей – а эти контрасты мирно уживались в семье Лери, – мысль эта стала для него непереносимой. Сердце его жаждало нежности и признательности, но чувства эти стали

источником внутренней борьбы и вечных укоров совести. Он с трудом мог подавить усмешку, неумолимо жестокую усмешку при виде окружающей его мелочности, этой смеси скупости и расточительности, что делает повадки выскочек особенно нелепыми. Супруги Лери, отъявленные деспоты, в то же время по-отечески заботливые, по воскресеньям выставляли своим работникам превосходное вино, зато в течение всей рабочей недели упрекали их за каждую каплю уксуса, подлитую в воду. Они, не колеблясь, приобрели для дочки прекрасное фортепьяно, мебель лимонного дерева для ее комнаты, книги в роскошных переплетах, но ворчали на Атенаис, если по ее приказанию батрак подбрасывал в очаг чересчур большую охапку хвороста. У себя дома они вели себя как люди маленькие, бедные, чтобы приучить слуг к усердию и бережливости; в обществе они горделиво пыжились и сочли бы смертельной обидой для себя малейшее сомнение в их достатке. Добрые, милосердные, но слишком податливые на лесть, они ухитрились по собственной глупости внушить ненависть соседям, впрочем, еще более глупым и тщеславным, чем сами Лери.

Вот этих-то недостатков и не мог простить им Бенедикт. Молодость куда более жестока и нетерпима к старости, чем старость к молодости. Однако сквозь мрак отчаяния, сквозь смутные и неясные порывы пробился луч надежды, озаривший жизнь юноши. Луиза, мадам или мадемуазель Луиза (ее именовали и так и эдак), три недели назад поселилась в Гранжневе. Вначале из-за разницы в возрасте их взаимоотношения были спокойными и вежливыми; кое-какие предубеждения Бенедикта против Луизы, которую он увидел впервые после двенадцати лет разлуки, скоро изгладились благодаря ее прелести и трогательной чистоте. Сходство вкусов и образования способствовали быстрому сближению, и Луиза, умудренная годами, горьким опытом и своими добродетелями, вскоре приобрела неограниченное влияние на юного друга. Но недолгой оказалась их сладостная духовная близость. Бенедикт, склонный действовать опрометчиво, умевший, как никто, обожествлять предмет своего поклонения и отравлять собственные радости крайностями, вообразил, будто влюблен в Луизу, будто именно она избранница его сердца, будто отныне он не способен жить без нее.

Заблуждения эти скоро рассеялись: холодность, с какой Луиза реагировала на его робкие признания, вызывала у Бенедикта скорее досаду, нежели боль. Ослепленный обидой, он в душе обвинял Луизу в гордости и сухости. Потом, вспомнив обо всем, что пережила Луиза, он брал себя в руки и складывал оружие, признавая, что она столь же достойна уважения, как и жалости. Раза два-три он почувствовал, что вновь в душе его просыпаются пылкие надежды, чересчур страстные для простой дружбы, но Луиза умела усмирить его порывы. Она не прибегала к доводам рассудка, который склонен заблуждаться, идти на

сделки; житейский опыт научил ее остерегаться сочувствия, она не жалела Бенедикта. И хотя душа ее была чужда жестокости, она прибегала к ней, желая исцелить юношу. Волнение, проявленное Бенедиктом нынче во время их беседы, было очередной его попыткой бунта. Теперь он уже раскаивался в своем сумасбродстве и, поразмыслив, понял, что еще не пришел его час любить кого-то или что-то всеми силами души – так тревожно было на сердце.

Молчание прервала тетушка Лери, шутливо заметив дочери:

– Ты с этими цветами все перчатки замараешь. А вспомни-ка, что сказала как-то при тебе мадам: «В провинции особу низкого происхождения всегда узнаешь по рукам и ногам». Она, эта милейшая дамочка, даже не подумала, что мы можем принять ее слова на свой счет!

– А я, напротив, считаю, что она сказала это именно в наш адрес. Бедная мамаша, плохо же ты знаешь госпожу Рембо, если думаешь, что она раскаивается в том, что нанесла нам афронт.

– Афронт! – язвительно повторила тетушка Лери. – Она, видите ли, желала нам афронт нанести! Как же! Будто меня можно пронять афронтом, от кого бы он ни исходил.

– И все же придется нам сносить не одну ее дерзость, пока мы ее фермеры. Фермеры, вечные фермеры, хоть наши владения ничуть не уступают владениям графини! Папенька, пока вы не разделаетесь с этой противной фермой, я от вас не отстану. Тут все не по мне, не могу я больше этого выносить!

Дядюшка Лери покачал головой.

– Тысяча экю ежегодного дохода никому не помешают, – заметил он.

– Лучше получить на тысячу экю меньше, лишь бы быть свободным, пользоваться своим богатством, вырваться из-под власти этой злобной гордячки.

– Ба! – бросила тетушка Лери. – Да мы с ней и дел-то почти не имеем. После того злосчастливого события она наезжает сюда раз в пять-шесть лет. Да и сейчас-то приехала она на свадьбу барышни и, может, больше никогда здесь не появится.

Говорят, мадемуазель Валентина получит в приданое замок и ферму. Тогда у нас будет хорошая хозяйка!

– Это верно, Валентина – добрая девушка, – подтвердила Атенаис, гордясь тем, что может в таком фамильярном тоне говорить об особе, чьему высокому положению втайне завидовала. – Она-то не гордая, она не забыла, как мы вместе играли детьми. И к тому же у нее достаточно ума, и она понимает, что единственное различие между людьми – это деньги, и что наше состояние столь же значимо, как и ее.

– Это уж по меньшей мере! – задиристо проговорила тетушка Лери. – Для этого ей достаточно было просто родиться, а мы – мы деньги заработали потом и кровью. Впрочем, упрекать ее нечего, она славная барышня и красавица к тому же! Ты ее никогда не видел, Бенедикт?

– Никогда, тетя.

– А я все-таки привязана к этому семейству, – продолжала тетушка Лери. – И отец ее был добряк! Вот это мужчина так мужчина, да и красавец каких поискать! Ей-богу, настоящий генерал, весь в золоте и в крестах, а на всех праздниках приглашал меня танцевать, словно я герцогиня какая-нибудь... Мадам, правда, не особенно-то довольна была...

– Да и я тоже, – простодушно заметил дядюшка Лери.

– Ох, уж этот мне Лери! – воскликнула его супруга. – Вечно насмешит! Я ведь к тому говорю, что, кроме самой мадам, которая нос задирает, все остальные в их семье славные люди. Взять хоть бабушку – лучше женщины на всем свете не сыщешь!

– Да, она лучше их всех, – подтвердила Атенаис. – Всегда что-нибудь ласковое скажет, иначе не назовет, как «душечка моя», «красавица», «милая моя крошка».

– А это, что ни говори, приятно! – насмешливо заметил Бенедикт. – Ладно, ладно. Да еще вдобавок тысяча экю дохода с фермы – на эти деньги можно закупить груду тряпок...

– Вот видишь, этим бросаться не следует, верно, мальчик? – подхватил дядюшка Лери. – Скажи-ка ей это, сынок, она тебя послушает.

– Нет, нет, ничего я не послушаю! – воскликнула девушка. – Я от вас до тех пор не отстану, пока вы не развяжетесь с фермой. Срок аренды истекает через полгода, и не нужно возобновлять ее, слышишь!

– А что же прикажешь мне делать? – опешил старик, смущенный вкрадчивым и в то же время настойчивым тоном дочери. – Что, сидеть сложа руки? Я не ты, не могу я петь да читать, я со скуки помру.

– Но, папа, у вас много добра, значит, есть чем распоряжаться.

– Все прекрасно ладилось, а теперь чем прикажешь мне заняться? Да и где мы жить будем? Ведь ты не согласишься поселиться вместе с батраками?

– Конечно нет. Надо строиться, пусть у нас будет собственный дом, и все в нем мы сделаем иначе, чем на этой противной ферме. Вот увидите, как я все там устрою!

– Ясно, устроишь, и пустишь на это все денежки! – ответил отец.

Атенаис надулась.

– Ну тогда поступайте как знаете, – проговорила она раздраженно. – Вы еще будете каяться, что не послушали меня, да поздно.

– Что вы имеете в виду? – осведомился Бенедикт.

– А то, – ответила Атенаис, – что когда мадам де Рембо узнает, кого мы приютили на ферме и держим целых три недели, она рассердится, и по окончании контракта прогонит нас, да еще начнет крюкотворствовать и затеет тяжбу... Не лучше ли нам уйти достойно, с почестями, удалиться самим, не ожидая, когда нас выгонят?

Это соображение заставило призадуматься стариков Лери. Они замолчали, а Бенедикт, которого все сильнее и сильнее раздражали речи Атенаис, не

колеблясь истолковал ее последнее замечание с плохой стороны.

– Другими словами, – проговорил он, – вы, кажется, упрекаете ваших родителей за то, что они приютили у себя мадам Луизу?

Атенаис вздрогнула и удивленно взглянула на Бенедикта; лицо ее выражало гнев и растерянность. Потом она побледнела и залилась слезами. Бенедикт понял все и взял ее руку.

– О, какой ужас! – воскликнула она прерывающимся от рыданий голосом. – Так переиначить мои слова, когда я люблю мадам Луизу как родную сестру!..

– Ну ладно, ладно, ты его не поняла, поцелуйтесь – и хватит плакать, – заметил папаша Лери.

Бенедикт поцеловал свою кузину, на лице которой тут же заиграл прежний яркий румянец.

– Да будет тебе, дочка, утри слезы, – сказала тетушка Лери. – Вот мы и подъезжаем. Не следует показываться на людях с красными глазами. Смотри, тебя ждут!

И впрямь, с лужайки уже доносились звуки лютни и волынок, и группа молодых людей, поджидавшая приезда девиц, устроила на дороге настоящую засаду – каждый торопился первым пригласить свою избранницу на танец.

4

Все эти юноши принадлежали к тем же слоям общества, что и Бенедикт, а отличала его образованность, что, впрочем, в глазах местных жителей являлось скорее недостатком, чем достоинством. Многие из них были не прочь посвататься к Атенаис.

– Лакомый кусочек! – воскликнул один из молодых людей, взобравшийся на бугорок, чтобы не пропустить появления экипажей. – Едет мадемуазель Лери –

краса Черной долины.

- Потихе, потихе, Симонно! Она предназначена мне, я уже целый год за ней ухаживаю. Так что у меня есть основания считать, что право первенства за мной.

Говоривший был крепкий черноглазый парень высокого роста, с загорелым лицом и широкими плечами, сын местного богача-прасола.

- Все это так, Пьер Блютти, - отозвался первый, - но при ней ее нареченный.

- Какой нареченный? - хором воскликнули остальные.

- А ее кузен Бенедикт.

- Ага, Бенедикт, этот адвокат, краснобай, ученый...

- Да, папаша Лери не поскупился, чтобы сделать из него человека.

- И он на ней женится?

- Женится.

- Ну, ведь еще не женился!

- Родители этого хотят, дочка хочет, еще бы этот малый не захотел!

- Не понимаю, как вы можете терпеть такое! - воскликнул Жорж Симонио. - Да, хорошенький же у нас будет сосед! Этот грамотей наверняка станет корчить из себя важную персону. И ему самая лучшая девушка и самое лучшее приданое? Нет уж, не допущу я этого, покарай меня Бог!

- Девчонка - та еще кокетка, а этот верзила бледномордый (кличка, данная местными парнями Бенедикту) и собой нехорош, и кавалер никудышный. Мы должны расстроить свадьбу! Пошли, ребята; тот счастливец, кому повезет больше других, щедро угостит нас в день своего бракосочетания. Но прежде всего давайте решим, как утереть нос этому Бенедикту.

С этими словами Пьер Блютти вышел на дорогу и, крепко ухватив Любимчика под уздцы, остановил двуколку, после чего поприветствовал юную фермершу и пригласил ее на танец. Бенедикту не терпелось загладить свою вину перед кузиной, кроме того, хоть он и не собирался заявлять права на Атенаис, он был не прочь подразнить своих многочисленных соперников. Поэтому он загородил спиной сиденье двуколки, скрыв от кавалеров Атенаис.

– Господа, моя кузина благодарит вас от всего сердца, – сказал он, – но, надеюсь, вы не сочтете несправедливым то, что первый контрданс по праву принадлежит мне. Она уже обещала, вы опоздали.

Не дослушав возражений, он стегнул Любимчика, и двуколка, поднимая клубы пыли, въехала на улицу поселка.

Атенаис не ждала такой удачи: и вчера, и нынче утром Бенедикт, не желавший с ней танцевать, уверял, будто вывихнул себе ногу и даже нарочно прихрамывал. Когда же она увидела, как он шагает рядом с двуколкой с решительным видом, сердце ее запрыгало от радости – уже не говоря о том, что для самолюбия хорошенькой девицы унижительно не открыть бала со своим женихом, Атенаис по-настоящему любила Бенедикта. Она признавала его явное превосходство над собой, и, так как любовь всегда чуточку тщеславна, в душе Атенаис была польщена тем, что ее жених образованнее и воспитаннее всех ее кавалеров. Итак, когда она появилась на полянке, нельзя было не прельститься ее живостью и свежестью; даже наряд, столь сурово осужденный Бенедиктом, был очаровательным – на менее изощренный вкус. Женщины просто позеленели от зависти, а кавалеры единодушно провозгласили Атенаис царицей бала.

Однако к вечеру эта яркая звездочка несколько померкла перед другим светилом, более чистым и более лучезарным, – перед мадемуазель де Рембо. Услышав, как это имя передается из уст в уста, Бенедикт, движимый любопытством, примкнул к толпе почитателей, бросившихся вслед за ней. Желая разглядеть ее получше, он забрался на каменное подножие креста – священного места для жителей всей округи. Этот кощунственный, вернее, сумасбродный поступок привлек к нему взгляды всех, включая мадемуазель де Рембо, которая невольно повернулась туда, куда смотрела толпа, и дала возможность Бенедикту без помех рассмотреть себя.

Она ему не понравилась. Уже давно он обрисовывал для себя идеал женщины – брюнетка, бледная, пылкая, живая, словом, нечто в испанском духе, и он отнюдь

не собирався отрекатся от своих грез. Мадемуазель Валентина никак не соответствовала этому идеалу: она была блондинка, белокожая, спокойная, высокая, свежая, безукоризненно сложенная. В ней не было ни единого недостатка из тех, что притягивали болезненное воображение Бенедикта, намотревшегося на те произведения искусства, где кисть, поэтизируя уродство, тем самым делает его более привлекательным, чем красота. Кроме того, мадемуазель де Рембо держалась с прирожденным достоинством, что скорее могло внушить уважение, нежели очаровать с первого взгляда. Все в ней напоминало придворных дам времен царствования Людовика XIV – и линия профиля, и изящный изгиб шеи, и роскошные, ослепительно белые плечи. Надо думать, потребовалось не одно поколение рыцарей, дабы создать это счастливое сочетание чистых и благородных черт и царственной осанки, которые можно видеть у лебедя, когда величественно и томно он расправляет на заре свои крылья.

Бенедикт покинул свой наблюдательный пункт у подножия креста, и тут же, не обращая внимания на бормотание местных кумушек, еще десятка два юношей бросились к этому заветному местечку, откуда всех видно и тебя все видят. Через час круговращение толпы принесло Бенедикта к дамам де Рембо. Дядюшка Лери, почтительно сняв шляпу, беседовал с хозяйками замка и, завидев племянника, схватил его за руку и представил дамам.

Валентина сидела на траве между своей матерью, графиней де Рембо, и своей бабушкой, маркизой де Рембо. Бенедикт никогда раньше не видел ни одну из этих трех дам, но он так много слышал о них на ферме, что не удивился, удостоившись холодно-высокомерного кивка одной и добродушно-фамильярного приветствия другой. Казалось, старая маркиза своими шумными излияниями стремится искупить ледяное молчание невестки. Однако в этой нарочито простонародной болтовне чувствовалась феодальная покровительственность.

– Как, это и есть Бенедикт? – воскликнула старушка. – Неужели это тот самый мальчуган, которого я видела еще на руках у его матушки? Что ж, здравствуй, мой мальчик, рада видеть тебя взрослым и таким нарядным. Ты ужасно похож на свою мать. Да, да, мы с ней много лет дружили! Тебя крестил мой бедный сын, генерал, погибший под Ватерлоо. И как раз я подарила тебе твои первые штанишки, но ты, конечно, этого не помнишь. Сколько же с тех пор прошло времени? Тебе, должно быть, сейчас лет восемнадцать?

– Мне двадцать два, мадам, – ответил Бенедикт.

– О Господи, уже двадцать два! – воскликнула маркиза. – Как время-то бежит! А я думала, ты ровесник моей внучки. Ты ее не знаешь, мою внучку?

Ну так убедись, что мы тоже умеем рожать славных ребятишек! Валентина, поздоровайся-ка с Бенедиктом, он племянник нашего почтенного Лери и жених твоей подружки Атенаис. Поговори с ним, внучка.

Эти последние слова можно было перевести так: «Следуй моему примеру, ты прямая наследница нашего рода, умей завоевать простые сердца, дабы спасти свою голову в минуту грядущих революций, как спасалась я во время революций минувших!» Однако мадемуазель де Рембо, то ли благодаря выучке, то ли следуя обычаю, то ли из-за своего прямодушия, удалось и улыбкой, и взглядом утишить в душе Бенедикта гнев, вызванный оскорбительной приветливостью маркизы. Он устремил на девушку дерзкий и насмешливый взгляд, ибо уязвленная гордыня на один миг вытеснила диковатость и робость, свойственные его возрасту. Но прекрасное лицо выражало такую кротость, такую безмятежность, звук голоса Валентины был так чист и так упоителен, что юноша опустил глаза и вспыхнул, как красная девица.

– О, – проговорила она, – могу сказать вам положила руку на сердце, что я люблю Атенаис как родную сестру. Не откажите в любезности привести ее сюда. Я уже давно ищу ее повсюду, но безуспешно. А мне так хочется ее расцеловать.

Бенедикт склонился в глубоком поклоне и вскоре вернулся к Валентине со своей кузиной. Атенаис, дружески взяв под руку высокородную девицу де Рембо, стала прогуливаться с ней среди праздничной толпы. Хотя мадемуазель Лери старалась делать вид, что ничего в этом особенного нет, а Валентина отлично понимала ее чувства, фермерша не могла скрыть горделивой радости, она торжествовала: ведь многие женщины из зависти старались ее опорочить.

Тем временем лютня подала сигнал к следующему танцу – к бурре. На сей раз Атенаис пригласил один из тех юношей, что поджидали ее на дороге. Она попросила мадемуазель де Рембо быть ее визави.

– Пусть меня сначала пригласят, – с улыбкой возразила Валентина.

– За этим дело не станет! – с живостью воскликнула Атенаис. – Бенедикт, пригласите мадемуазель.

Бенедикт, робко вскинув глаза, молча спросил позволения Валентины. На ее милом простодушном личике он прочел согласие. Но только шагнул к ней, как в ту же секунду графиня-мать резким движением схватила дочь за локоть и произнесла достаточно громко, чтобы Бенедикт мог расслышать:

– Дочь моя, я разрешаю вам танцевать буре только с господином де Лансаком.

Тут только Бенедикт впервые заметил высокого молодого красавца, предложившего руку юной графине, и вспомнил, что де Лансак – жених Валентины.

Уже через минуту он понял причину такой реакции графини. Когда лютня перед началом буре выдавала особо звонкую трель, каждый кавалер, по обычаю, установившемуся еще с незапамятных времен, должен был поцеловать свою даму. Граф де Лансак, слишком хорошо воспитанный, чтобы позволить себе подобную вольность на людях, решил несколько видоизменить старинный беррийский обычай и почтительно поцеловал ручку Валентины.

Затем граф прошелся в танце, сделав несколько шагов вперед и назад, но тут же почувствовал, что не в силах принять капризный ритм буре, к которому не так-то легко привыкнуть с первого раза. Он остановился и сказал Валентине:

– Я исполнил свой долг по желанию вашей матушки, начав с вами танец, но боюсь, что испорчу вам все удовольствие своей неловкостью. У вас уже был кавалер, разрешите передать ему мои права.

И он обернулся к Бенедикту.

– Не угодно ли вам занять мое место? – осведомился он изысканно любезным тоном. – Вы исполните эту роль куда удачнее, чем я.

Но Бенедикт, раздираемый смущением и гордостью, не решался сменить графа, ибо его лишили самого желанного права танца.

– Прошу вас, – настойчиво продолжал де Лансак, – вы будете сторицей вознаграждены за эту услугу, которую я прошу вас оказать, и, быть может, еще поблагодарите меня.

Бенедикт не смог долго ломаться, ибо ручка Валентины без всякой неприязни нашла его дрожащую руку. Графиня была вполне удовлетворена дипломатическим маневром своего будущего зятя, так ловко вышедшего из положения, но тут как раз играющий на лютне музыкант, видимо шутник и насмешник, как и все подлинные артисты, прервал мелодию и с лукавой непосредственностью повторил зазывную трель. А это значило, что кавалер обязан поцеловать свою даму. Бенедикт побледнел и растерялся. Папаша Лери, испуганный злобным огнем, вспыхнувшим в глазах графини, бросился к лютнисту и стал умолять его играть дальше, не повторяя роковой трели. Но деревенский музыкант не желал ничего слушать, смех и одобрительные возгласы публики лишь подзадорили его, и он уперся, заявив, что будет играть дальше лишь при том условии, если все поведут себя как положено. Танцоры роптали от нетерпения. Мадам де Рембо приготовилась было увести дочь. Но господин де Лансак, человек светский и находчивый, поняв всю смехотворность этой нелепой сцены, вновь приблизился к Бенедикту и проговорил любезно, однако не без скрытой насмешки:

– Неужели, сударь, я должен передать вам право, которым я сам не посмел воспользоваться? Вы, как я вижу, хотите полностью насладиться своим триумфом!

Бенедикт коснулся дрожащими губами бархатистой щеки юной графини. На миг, на один только миг, его охватило чувство гордости, он испытал райское наслаждение, но заметил, что Валентина, хотя и вспыхнула, от души смеется над этим происшествием. Он вспомнил, что она точно так же покраснела, когда господин де Лансак поцеловал ей руку, но не рассмеялась. И Бенедикт понял, что этот граф, вежливый, находчивый, рассудительный красавец, безусловно любим, и вел Валентину в танце без всякого удовольствия, хотя она танцевала бурре на диво уверенно, непринужденно, как истая поселянка.

Однако Атенаис вносила в танец еще больше прелести и кокетства, так как присущая ей красота пленяла всех без исключения. Мужчины, не получившие должного воспитания, любят откровенное кокетство, дразнящие взгляды, поощрительные улыбки. При всей своей невинности юная фермерша умела держаться с обольстительной, манящей уверенностью. В мгновение ока ее

окружили сельские поклонники и увлекли за собой, чуть ли не похитили. Некоторое время Бенедикт старался не выпускать ее из виду. Но, рассерженный тем, что она, бросив мать, присоединилась к рою молодых кокеток, вокруг которых теснились стаи воздыхателей, он попытался жестами и красноречивыми взглядами втолковать кузине, что она уж слишком поддалась своей природной резвости. Атенаис ничего не замечала или не желала замечать. Бенедикт сердито пожал плечами и удалился. В харчевне он встретил работника с дядюшкиной фермы, приехавшего сюда на серой кобылке, на которой обычно ездил сам Бенедикт. Он велел работнику доставить после праздника семейство Лери на двуколке домой, а сам, вскочив в седло, поскакал в одиночестве по дороге, ведущей в Гранжнев. В этот час сумерки уже начали сгущаться.

5

Поблагодарив Бенедикта изящным жестом, Валентина покинула круг танцующих и, присев возле графини, поняла по бледности ее лица, холодности взгляда, поджатым губам, что в мстительном сердце матери зреет гроза и гроза эта вскоре обрушится на нее. Господин де Лансак, чувствовавший себя первопричиной поведения своей невесты, решил уберечь ее хотя бы от первого шквала горьких упреков и, предложив Валентине руку, пошел с ней в некотором отдалении от мадам де Рембо, которая, увлекая за собой свекровь, поспешно шагала к карете. У Валентины на душе было беспокойно, она боялась материнского гнева, который уже готов был обрушиться на нее, хотя господин де Лансак с присущими ему находчивостью и тактом всячески старался ее развлечь, делая вид, что ничего серьезного не происходит, и, наконец, пообещал успокоить графиню. Валентина, искренне признательная де Лансаку за деликатность и заботу, за умение не выглядеть эгоистичным или же смешным, почувствовала, как растет в ее душе искренняя привязанность к будущему супругу.

А тем временем графиня, досадуя, что ей не с кем затеять ссору, взялась за свекровь. Так как на условленном месте ее людей не оказалось, ибо слуги не ожидали хозяйку так рано, ей пришлось волей-неволей прогуляться по пыльной каменистой дороге – нелегкое испытание для ног, привыкших утопать в кашмирских коврах, устилавших апартаменты Жозефины и Марии-Луизы[5 - ...апартаменты Жозефины и Марии-Луизы... – Жозефина и Мария-Луиза – императрицы Франции. Мария-Луиза (1791–1847) – дочь австрийского

императора Франца I, вступившая в брак с Наполеоном в 1810 году, после его развода с Жозефиной. После низложения Наполеона удалилась во владения отца, сохранив, как и Жозефина, титул императрицы.]. Досада графини, естественно, при этом еще больше усилилась, она даже чуть не оттолкнула старуху маркизу, которая, спотыкаясь на каждом шагу, старалась уцепиться за руку невестки.

- Что и говорить, миленький праздник, прелестная прогулка! - начала графиня. - И это все вы, вы захотели сюда приехать, вы и меня против воли с собой притащили. Вы любите всю эту чернь, а вот я ее ненавижу. Ну как, хорошо повеселились? Что ж вы не восторгаетесь прелестью пейзажей? Может быть, и жара вам тоже приятна?

- Да, приятна, - ответила старушка, - хотя мне и восемьдесят лет.

- Мне, слава Богу, нет восьмидесяти, но я задыхаюсь. А эта пыль, эти камни, которые впиваются в ноги! Как это мило!

- Но, дорогая, разве моя вина в том, что стоит жаркая погода, что дорога скверная, а у вас плохое настроение?

- Плохое настроение! Зато у вас никогда не бывает плохого настроения! Еще бы - вас ничто не заботит. Вы безбожно попустительствуете своим близким. Недаром семена, которые вы посеяли, принесли плоды, и, надо признаться, достаточно ранние...

- Мадам, - с горечью проговорила маркиза, - мне давно известно, что в гневе вы беспощадны.

- Как мне кажется, мадам, - ответствовала графиня, - вы именуете беспощадностью вполне законное возмущение оскорбленной матери?

- Да кто же вас оскорбил, побойтесь вы Бога?!

- И вы еще спрашиваете! Неужели, по-вашему, я не была достаточно оскорблена поведением моей дочери, когда весь этот деревенский сброд хлопал в ладоши, видя, как она на моих глазах, против моей воли, целуется с каким-то мужланом!

Ведь завтра они будут говорить: «Это кровная обида для графини де Рембо».

– Что за преувеличения! Что за пуританизм! Ваша дочь обещана тем, что ее поцеловали в присутствии трех тысяч человек? Ну и преступление! Согласна, в мое время, мадам, да и в ваше тоже, так не поступали, но поступали не лучше. К тому же этот мальчик вовсе не мужлан.

– Еще хуже, мадам, то, что это разбогатевший мужик, «просвещенный» смерд.

– Говорите тише, нас могут услышать!

– О, вы все еще бредите гильотиной, по-вашему, она вечно шествует за вами по пятам и готова схватить вас при малейшем проявлении гордости и отваги. Хорошо, я буду говорить тихо, но послушайте-ка, что я вам сейчас скажу: не вмешивайтесь в воспитание Валентины и не забудьте, какие плоды принесло воспитание «той».

– Опять! Опять! – простонала старуха, в отчаянии сжав руки. – Неужели надо по всякому поводу беречь эту рану? Дайте мне умереть спокойно, мадам, мне, восьмидесятилетней старухе!

– Всем бы хотелось дожить до такого возраста, особенно если им оправдывают любые причуды. Однако, несмотря на возраст, как бы вы ни пытались разыгрывать роль безобидной старушки, вы до сих пор имеете огромное влияние на мою дочь, да и на всех наших домочадцев тоже... Употребите его на наше общее благо, хотя бы Валентину оградите от этого злосчастного примера, о котором, к сожалению, она не забыла.

– Ну какая опасность может ей грозить с этой стороны? Ведь Валентина не сегодня-завтра выйдет замуж! Чего вы боитесь? Ее ошибками, если только она их совершит, пусть занимается ее муж, мы выполнили нашу обязанность...

– Да, мадам, мне известен образ ваших мыслей, я не желаю терять зря время, переубеждая вас, но повторяю: постарайтесь сделать так, чтобы поблизости не витал даже дух существа, которое запятнало всю нашу семью.

– Великий Боже! Мадам, утихомиритесь ли вы когда-нибудь? В каком тоне вы говорите о моей внучке, о дочери моего сына, о единственной и законной сестре Валентины? Именно потому, что она мне родня, я всегда буду скорбеть о ее поступке, но никогда не стану проклинать ее. Разве не искупила она дорогой ценой свою вину? Неужели ваша душа настолько преисполнена ненависти, что вы готовы преследовать ее даже в изгнании и нищете? Откуда это настойчивое стремление беречь рану, которая будет кровоточить до последнего моего вдоха?

– Послушайте, мадам, столь почитаемая вами внучка не так далеко, как вы пытаетесь меня уверить. Вот видите, вам не удалось меня провести!

– Великий Боже! – воскликнула старуха, распрямляя свой согбенный стан. – На что вы намекаете? Объяснитесь: внучка моя, бедная моя внучка, где она, где? Скажите мне, где она, молю вас об этом на коленях!

Госпожа де Рембо, закинувшая удочку лжи с единственной целью – вывести правду, почувствовала удовлетворение, услышав искренние и трогательные мольбы старухи, поскольку они рассеяли подозрения графини.

– Вы узнаете это, мадам, – ответила она, – но сначала узнаю я сама. Клянусь, я обнаружу в самом скором времени то место по соседству с нами, где она нашла себе приют, и сумею изгнать ее оттуда. Утрите слезы, вот идут наши люди.

Валентина поднялась в карету и вскоре вышла оттуда, надев прямо на свой наряд широкую синюю мериносовую юбку, которую она использовала вместо амазонки, слишком тяжелой для жаркой весенней погоды. Господин де Лансак, подставив ей руку, помог сесть на превосходного английского иноходца. Дамы разместились в карете, но, когда кавалькада собралась тронуться с места, лошадь де Лансака, взятая из сельской конюшни, вдруг упала на передние ноги, и ее не удалось поднять. Было ли то следствием чрезмерной жары или животное опоили плохой водой, только колики были так сильны, что о поездке не могло быть и речи. При лошади на постоялом дворе оставили форейтора, а господин де Лансак вынужден был сесть в карету.

– Но Валентина не может ехать одна! – воскликнула графиня.

– Что же тут такого? – удивился граф де Лансак, которому от души хотелось избавить девушку от двухчасового пути лицом к лицу с разгневанной матерью. – Мадемуазель Валентина поскачет рядом с каретой и, следовательно, не будет одна, мы даже сможем переговариваться с ней. Лошадь у нее послушная, так что, на мой взгляд, для нее нет никакого риска в поездке верхом.

– Но так не делается, – заявила графиня, несмотря на то что господин де Лансак был для нее непререкаемым авторитетом.

– В этом краю делается все, ибо здесь некому судить, что принято, а что нет. Сразу за поворотом начинается Черная долина, где мы даже кошки не встретим. К тому же через десять минут окончательно стемнеет, так что нам нечего бояться осуждающих взглядов.

Этот последний, весьма веский довод оказался решающим. Де Лансак одержал верх, и кортеж двинулся в сторону долины. Валентина скакала рысью следом за каретой. Уже опускалась ночь.

С каждым шагом дорога, пересекавшая равнину, становилась все уже. Вскоре Валентина уже не могла скакать рядом с каретой. Сначала она ехала позади, но так как из-за неровностей почвы возница то и дело резко осаживал лошадей, иноходец Валентины, чуть не натыкаясь грудью на задок кареты, испуганно бросался в сторону. В одном месте придорожная канава отступала от дороги, и Валентина, воспользовавшись этим, обогнала карету и с удовольствием поскакала вперед, не терзаясь предчувствиями и дав своему сильному благородному коню полную волю.

Погода была восхитительной. Луна еще не поднялась, и дорога была едва различима из-за густой листвы. Изредка в траве сверкал огонек светлячка, шуршала в кустарнике вспугнутая ящерица да над увлажненными росой цветами вилась ночная бабочка. Теплый ветерок, неизвестно откуда налетавший, нес с собой запах ванили – это зацвела в полях люцерна.

Валентину воспитывали все – и изгнанная из дому сестра, и спесивая мать, и монахини в том монастыре, куда ее отдали в учение, и взбалмошная, молодая душой бабка, – и поэтому никто не занимался ее воспитанием в должной мере. Лишь самой себе она была обязана тем, что стала такой, какой была сейчас, и, не найдя в семейном кругу понимания, постепенно приохотилась к учению и

мечтам. Спокойный от природы нрав и здравые суждения в равной мере уберегали девушку от тех ошибок и заблуждений, в каких повинны и общество, и одиночество. Отдаваясь во власть спокойных и чистых, как само ее сердце, мыслей, она наслаждалась прелестью майского вечера, полного целомудренной неги, созвучного чаяниям юной поэтической души. Быть может, она думала о своем женихе, о человеке, который первый отнесся к ней с доверием и уважением, что столь мило сердцу, привыкшему себя уважать, но еще непонятому другими. Валентина не грезила о страсти, ей было чуждо надменное стремление молодых умов, почитающих страсть властной потребностью своей природы. Скромная от природы, Валентина считала, что не создана для слишком неистовых и сильных испытаний, она не пыталась бунтовать против сдержанности, которую, как первейший долг, предписывал ей свет. Она принимала ее как благо, а не как закон. Она дала себе клятву не поддаваться пылким влечениям, которые на ее глазах стали причиной многих бед; она не жаждала роскоши, ради которой бабка даже жертвовала своим достоинством, не поддавалась тщеславию, непрестанно терзавшему мать с тех пор, как рухнули ее надежды, и в равной степени любви, что так жестоко сгубила ее сестру. При мысли о сестре на ее ресницах повисла слезинка. Это было единственное событие, оставившее неизгладимый след в душе Валентины, оно оказало влияние на ее нрав, наградило одновременно смелостью и робостью – робостью, когда дело касалось ее самой, а смелостью, когда дело касалось сестры. Правда и то, что ей до сих пор не удавалось доказать делом отвагу и преданность, жившие в ее душе: мать никогда не произносила в ее присутствии имени сестры, никогда еще не представлялся ей случай отстоять честь сестры, защитить ее. Желание это росло с каждым днем, и горячая нежность, которую питала Валентина к сестре, к образу ее, возникавшему как бы из дымки смутных детских воспоминаний, была единственным подлинным чувством, обитавшим в душе девушки.

Это подавляемое чувство, стремление обрести родственную душу заставляло Валентину испытывать внутреннее возбуждение, усиливавшееся в последние дни. В округе прошел слух, что ее сестру видели в восьми лье отсюда, в городке, где она некогда нашла себе приют на несколько месяцев. На сей раз она только переночевала там, не назвав своего имени, но владельцы харчевни уверяли, что сразу ее узнали. Слух этот дошел до замка Рембо, расположенного в другом конце Черной долины: слуга, надеявшийся на милость графини, сообщил ей эту новость. Случилось так, что Валентина, сидевшая за работой в соседней комнате, услышала возглас матери – она назвала имя, от которого девушку бросило в дрожь. Не в силах побороть тревогу и любопытство, она прислушалась и поняла смысл тайных донесений лакея. Произошло это накануне первого мая,

и теперь Валентина, взволнованная и встревоженная, размышляла о том, верна ли эта весть и не правильнее ли предположить, что люди ошиблись, – не так просто узнать человека, который пятнадцать долгих лет провел в изгнании.

Вся во власти этих дум, мадемуазель де Рембо, не заметив, что иноходец скачет слишком быстро, не осадила его вовремя и очнулась, когда карета оказалась далеко позади. Заметив это, она остановилась и, не видя ничего во мраке, пригнулась к луке седла и прислушалась, но то ли отдаленный стук колес смягчала высокая, покрытая росой трава, то ли мешало шумное и учащенное дыхание иноходца, нетерпеливо натягивающего поводья, – но, так или иначе, ни один звук не донесся до ушей Валентины, она слышала лишь торжественное безмолвие ночи. Валентина, решив, что заблудилась, повернула коня, проскакала галопом часть дороги, так и не встретив никого, снова остановилась и прислушалась.

И на этот раз она не услышала ничего, кроме стрекотания кузнечика, пробудившегося с восходом луны, да отдаленного лая собак.

Валентина снова пустила лошадь галопом и вновь остановилась на развилке дороги. Она пыталась вспомнить, какая дорога привела ее сюда, но из-за темноты не могла определить направления. Благоразумнее было бы подождать здесь появления кареты, ибо она могла проехать только по одной из этих двух дорог. Но страх уже затуманил рассудок молодой девушки, ждать своих и тревожиться было, по ее мнению, самым нелепым решением. Поэтому она понадеялась на инстинкт иноходца – он непременно выберет верное направление, почуяв лошадей, запряженных в карету, если память его подведет. Все лучше, чем стоять вот так, на месте, в страхе и тревоге. Предоставленный своей воле иноходец свернул налево. После бесцельной и бессмысленной скачки Валентине вдруг почудилось, будто она узнает огромное дерево, замеченное еще поутру. Это обстоятельство придало ей смелости, она даже улыбнулась своим страхам и погнала лошадь вперед.

Но вскоре она заметила, что дорога все круче спускается в долину. Валентина плохо знала здешние края, ее увезли отсюда ребенком, но ей показалось утром, что дорога проходила выше по склонам, окружавшим долину. Да и сам пейзаж изменился: свет луны, медленно поднимавшейся над горизонтом, пробивался в просветах между ветвей, и теперь Валентине удалось разглядеть то, чего она не могла видеть в темноте. Дорога, утоптанная скотом и колесами, стала значительно шире, она пролегла теперь по более открытой местности. Ивы с

коротко обрезанными ветвями тянулись рядами по обеим ее сторонам, их причудливо искривленные стволы, вырисовывавшиеся на фоне неба, казались мерзкими чудищами, которые вот-вот станут качать уродливыми головами и извиваться безрукими телами.

6

Внезапно Валентина услышала глухой протяжный звук, напоминавший отдаленный стук колес. Она свернула с дороги и направилась по боковой тропинке к тому месту, откуда доносился шум, все усиливавшийся и менявшийся. Если бы Валентина могла проникнуть взглядом сквозь пенный цвет яблонь, пронизанный светом луны, она увидела бы белую блестящую ленту реки, устремляющуюся к плотине, которая была неподалеку. Все же она и так угадала близкое присутствие Эндра по идущей от него прохладе и нежному запаху мяты. Именно поэтому она поняла, что уклонилась от правильного пути, и тут же решила спуститься к реке и ехать берегом, в надежде обнаружить мельницу или хижину, где можно расспросить о дороге. И в самом деле, вскоре путь ей преградил старый, стоявший на отшибе темный амбар, и хотя света не было, лай собак за забором свидетельствовал о том, что здесь живут люди. Она крикнула, но никто не отозвался. Тогда она подъехала к воротам и постучала в них стальным наконечником хлыста. В ответ послышалось жалобное блеяние – амбар оказался овчарней. В этом краю, где не было ни волков, ни воров, не было нужды и в пастухах. Валентина поехала дальше.

Ее иноходец, словно ему передалось смятение хозяйки, перешел теперь на шаг и продвигался вперед медленно и неуверенно. Иногда копыто его высекало из кремня искру, а то он вдруг тянулся мордой к молодым побегам вяза.

Внезапно в этой тишине, среди пустынных полей и лугов, не слышавших никогда иной мелодии, кроме той, что от нечего делать извлекает из своей дудочки ребенок, или хриплой и непристойной песенки подгулявшего мельника, к тихому бормотанию воды и вздохам ветерка присоединился чистый, сладостный, завораживающий голос – голос молодого человека, сильный и вибрирующий, как звук гобоя. Он пел беррийскую песенку, простую, протяжную и грустную, как, впрочем, все местные песни. Но как он пел! Разумеется, ни один сельский житель не мог так владеть голосом и так модулировать. Но это не был и

профессиональный певец, тот не позволил бы так увлечь себя незамысловатому ритму и не отказался от всяких фиоритур и прочих премудростей. Пел тот, кто чувствовал музыку, но не изучал ее, а если бы изучал, то стал бы первым из первых певцов мира. Да, в нем не чувствовалось выучки; мелодия, как голос самих стихий, поднималась к небесам, полная единственной поэзии – поэзии чувств. «Если бы в девственном лесу, далеко от произведений искусства, далеко от ярких кенкетов[6 - Кенкет – старинная масляная лампа с горелкой, расположенной под резервуаром.] рампы и арий Россини, среди альпийских елей, где никогда не ступала нога человека, – если бы духи Манфреда[7 - ...Духи Манфреда... – Манфред – герой одноименной философской поэмы Байрона. Проникнув в тайны природы, он подчиняет себе силой магии духов стихий, но бессилён заставить их служить человечеству.] пробудились вдруг к жизни, именно так бы они и пели», – подумалось Валентине.

Она уронила поводья, лошадь спокойно пощипывала траву, росшую на обочине дороги. Валентина уже не испытывала страха: она была околдована таинственной песней, и так сладостно было это чувство, что она и не думала удивляться, слыша ее в таком месте и в такой час.

Когда голос умолк, Валентина подумала, что все это ей пригрезилось, но вот песнь раздалась вновь, приблизилась, и с каждым мгновением звуки ее все отчетливее доносились до слуха прекрасной амазонки, потом они снова утихли, и теперь Валентина слышала лишь лошадиный топот. По тяжелому неровному аллюру она без труда догадалась, что это крестьянская лошадь.

Валентина почувствовала страх, представив, что сейчас она очутится здесь, в этом пустынном углу, с глазу на глаз с человеком, который может оказаться грубияном, пьяницей. Как знать, пел ли это сам ночной путник, или, быть может, тяжелая поступь его коня спугнула сладкоголосого эльфа. Но, так или иначе, она сочла более благоразумным открыть свое присутствие незнакомцу, чем проблуждать всю ночь по полям и лугам. Валентина подумала также, что, если ее попытаются оскорбить, иноходец, безусловно, сможет ускакать от крестьянской лошадки, и, стараясь казаться спокойной, двинулась навстречу ездоку.

– Кто там? – раздался твердый голос.

– Валентина де Рембо, – ответила девушка, не без чувства гордости назвав свое имя, весьма почитаемое в этих краях.

Невинное тщеславие не должно было показаться чем-то нелепым или смешным, ибо гордилась она доблестями и отвагой своего отца.

– Мадемуазель де Рембо, одна и в такой час! – поразился путник. – А где же господин де Лансак? Не упал ли он с лошади? Жив ли он?

– Слава Богу, жив, – ответила Валентина, приободренная звуком голоса, показавшегося ей знакомым. – Если не ошибаюсь, месье, вас зовут Бенедикт, и мы с вами сегодня танцевали.

Бенедикт вздрогнул. Мельком он подумал, что неприлично было напоминать об этой щекотливой ситуации, при одном воспоминании о которой вся кровь закипала у него в жилах... Но иной раз самое искреннее чистосердечие может показаться дерзостью. На самом же деле Валентина, взбудораженная ночной скачкой, совершенно забыла о смешном случае с поцелуем, и только тон ответа Бенедикта напомнил ей обстоятельства происшествия.

– Да, мадемуазель, я Бенедикт.

– Вот и хорошо, – сказала она, – будьте добры, укажите мне дорогу.

И она рассказала ему, как сбилась с пути.

– Вы находитесь в одном лье от того места, где потеряли дорогу, – пояснил он, – и чтобы выехать на нее, вам придется проехать через ферму Гранжнев. Так как я сам держу туда путь, разрешите быть вашим провожатым. Возможно, выехав на дорогу, мы обнаружим карету, которая вас поджидает.

– Вряд ли, – возразила Валентина, – матушка видела, что я обогнала их, и, разумеется, решила, что я окажусь в замке раньше, чем они.

– В таком случае, мадемуазель, разрешите проводить вас до дому. Мой дядя, безусловно, был бы более подходящим проводником, но он еще не вернулся с праздника и не знаю, когда вернется.

Валентина с отчаянием подумала, что это обстоятельство лишь усугубит гнев матери, но, не считая себя виноватой во всех сегодняшних приключениях, она

без всякого жеманства приняла предложение Бенедикта, что невольно внушило к ней уважение. Бенедикт был тронут ее простотой и мягким обхождением. То, что поначалу не понравилось ему в Валентине, а именно – ее непринужденность, которая была следствием осознания своего превосходства, внушенным ей с пеленок, – как раз и покорило его теперь. Он понял, что девушка принимает свое благородное происхождение как нечто естественное, без надменности или наигранного самоуничижения. Она была как бы промежуточным звеном между матерью и бабкой, она умела заставить себя уважать, не оскорбляя собеседника. Бенедикт дивился тому, что в присутствии Валентины не испытывал робости, того трепета, какой неизбежно охватывает выросшего вдали от света двадцатидвухлетнего юношу в присутствии молодой прекрасной женщины. И он заключил из этого, что мадемуазель де Рембо с ее благородной красотой и природным чистосердечием достойна и уважения, и дружеского участия. Мысль о любви даже не пришла ему в голову.

После обычных в таком случае расспросов о дороге, о выносливости лошадей, Валентина спросила Бенедикта, не он ли сейчас пел. Бенедикт знал, что поет превосходно, и не без тайного удовлетворения подумал, что она слышала его голос, разносившийся далеко по долине. Однако он небрежно осведомился, движимый тем неосознанным притворством, которое подсказывает нам тщеславие:

– Разве вы что-нибудь слышали? Очевидно, это был я, а может быть, лягушки в тростнике.

Валентина хранила молчание. Она была так восхищена этим голосом, что не могла подобрать нужных слов, опасаясь недооценить способности певца или же отозваться о них чересчур восторженно, что прозвучало бы фальшиво. Нарушив молчание, она простодушно спросила:

– Но где вы учились петь?

– Будь у меня талант, я имел бы право ответить вам, что этому не учатся, но в данном случае это было бы позерством. Я брал в Париже уроки пения.

– Какая прекрасная вещь музыка, – заметила Валентина.

Начав с музыки, они заговорили о других искусствах.

– Я вижу, вы тоже музыкантша, – сказал Бенедикт в ответ на какое-то глубокое ее замечание.

– Меня учили музыке, как и всему прочему, – отозвалась она, – другими словами – учили поверхностно, но этот вид искусства дался мне довольно легко, я научилась разбираться в музыке, я ее чувствую.

– И у вас, безусловно, большой талант?

– У меня?.. Я играю контрдансы, и только.

– А голос у вас есть?

– Есть. Я пела, и многие даже находили во мне способности, но я бросила пение.

– Как? При такой любви к искусству?

– Да, бросила и взялась за живопись, которую я люблю гораздо меньше и которая дается мне труднее.

– Не странно ли?

– Нет, в теперешнее время человеку необходимо освоить какое-нибудь дело, знать его досконально. Наше положение и наше состояние непрочно. Может статься, что через несколько лет земли Рембо, моя вотчина, отойдут государству, как это случилось полвека тому назад. Такие, как я, получают жалкое образование, нас учат всему понемногу и не позволяют углублять свои знания. Родные хотят, чтобы мы были образованными, но если мы, не дай Бог, станем учеными, нас подымут на смех. Нас неизменно воспитывают в расчете на богатство, а не бедность. Так вот я вам скажу: куда лучше образование, которое давали нашим прабабкам, как ни было оно ограничено – они хоть вязать умели. Революция застала их женщинами ничем не примечательными, и они смирились с тем, что ничем не примечательны, и без малейшего отвращения занялись вязанием, зарабатывая на жизнь. А что станет с нами, с грехом пополам знающими английский язык, начала рисования и музыки, с нами, умеющими писать лаковыми красками, разрисовывать акварелью каминные экраны, делать из бархата цветы и прочие дорогостоящие пустячки? Что будем делать мы,

когда республика примет закон, запрещающий роскошь, и оставит нас без пропитания? Кто из нас способен принизить себя до ручного ремесла? Ведь только одна из двадцати девушек нашего круга обладает более или менее серьезными знаниями, да и то считаю, что им подходит лишь одно занятие – стать горничными. Я поняла это еще давно, из рассказов бабушки и матери (вот вам пример двух совершенно противоположных существований: эмиграция и Империя, Кобленц и Мария-Луиза), поняла, что мой долг уберечь себя от злоключений первой и безрадостного благоденствия второй. И как только я стала свободна в своем выборе, я забыла обо всех моих талантах, которые не могут быть мне полезны. Я посвятила себя одному, ибо заметила, что в любые времена человек, делающий хорошо что-то одно, всегда найдет себе место в обществе.

– Итак, вы считаете, что в обществе будущего с его спартанскими нравами живопись окажется более полезной, более востребованной, нежели музыка, раз вы решительно избрали ее вопреки своему призванию?

– Возможно, но не только в этом дело. Музыка как профессия мне не подошла бы: женщина там слишком на виду, и у нее только два варианта – либо театральные подмости, либо салоны. Музыка превращает женщину либо в актрису, либо в лицо зависимое, которое нанимают давать уроки какой-нибудь провинциальной барышне. Живопись дает больше свободы, позволяет жить уединенно, отчего радость, даваемая ею, становится вдвое дороже. Думаю, что теперь вы одобрите мой выбор... Но, пожалуйста, поедem быстрее – матушка меня ждет и беспокоится...

Бенедикт, преисполненный восхищения, потрясенный рассудительностью юной девушки, втайне польщенный той искренностью, с какой Валентина открыла перед ним свои мысли и свои принципы, не без сожаления стегнул лошадь. Но когда в свете луны забелела крыша их фермы, в голову ему пришла неожиданная мысль. Он осадил лошадь и, находясь во власти своей сумасбродной идеи, машинально протянул руку и взял под уздцы иноходца Валентины.

– Что случилось? – спросила она, натягивая поводья. – Мы сбились с дороги?

Бенедикт растерянно молчал. Потом, набравшись духу, заговорил:

– Мадемуазель, то, что я хочу вам сказать, пробуждает в моей душе тревогу и смятение, ибо я не знаю, как вы отнесетесь к моим словам. Я говорю с вами впервые в жизни, и Господь Бог свидетель, что, расставшись с вами, я сохраню в душе величайшее к вам уважение. Однако в первый, а возможно, и в последний раз мне выпало подобное счастье, и, если слова мои оскорбят вас, вам нетрудно будет избежать встреч с человеком, на свою беду не угодившим вам...

Это торжественное вступление поселило в душе Валентины страх, смешанный с изумлением. У Бенедикта была своеобразная внешность, той же печатью исключительности был отмечен и его ум. Валентина успела заметить это, пока они беседовали. Огромный талант к пению, изменчивость черт, не позволяющая уловить выражение лица Бенедикта, развитой ум, скептически относящийся ко всему, делали Бенедикта необыкновенным и непонятым в глазах Валентины, которой до сегодняшнего дня еще не доводилось общаться с юношами не из ее среды. Поэтому-то его вступительная речь испугала ее: как ни далека она была от тщеславия, ей невольно пришло в голову, что он сейчас объяснится ей в любви, и она не знала, что сказать на это.

– Вижу, что напугал вас, мадемуазель, – продолжал Бенедикт. – Я оказался в столь щекотливом положении, что не надеюсь быть понятым с полуслова, впрочем, я не знаю даже с чего начать.

Слова эти лишь усугубили тревогу Валентины.

– Сударь, – проговорила она, – не думаю, что вы скажете мне то, чего я не могла бы выслушать, особенно после того, как вы сами признались, что смущены. Коль скоро вы боитесь меня оскорбить, мне, очевидно, следует опасаться какой-нибудь неловкости с вашей стороны. Покончим разговор, прошу вас, и, так как я уже знаю дорогу, примите мою благодарность и не утруждайте себя более, не провожайте меня.

– Я должен был предположить, что ответ будет таков, – проговорил оскорбленный до глубины души Бенедикт. – Очевидно, я несколько переоценил ум и чувствительность мадемуазель де Рембо.

Валентина не удостоила его ответом. Холодно кивнув юноше, она, испуганная всем случившимся, хлестнула коня и поскакала прочь.

Бенедикт ошеломленно глядел ей вслед. Вдруг он с досадой ударил себя по лбу.

– Ну и болван! – воскликнул он. – Она же меня не поняла!

И, направив свою лошадь через ров, он срезал угол загородки, вдоль которой скакала Валентина, и через три минуты уже нагнал ее и преградил ей путь. Валентина так испугалась, что чуть было не свалилась с коня.

7

Бенедикт соскочил с лошади.

– Мадемуазель! – вскричал он. – Преклоняю перед вами колени. Не бойтесь, вы ведь знаете, что пеший я вас не догоню. Соблаговолите выслушать меня. Я глупец! И я нанес вам смертельное оскорбление, вообразив, что вы с умыслом не захотели понять моих слов; желая подготовить вас, я громоздил одну нелепицу на другую, но теперь я прямо пойду к цели. Слышали ли вы в последнее время разговоры насчет одной особы, столь вам дорогой?

– О, говорите, говорите! – воскликнула Валентина, и вопль этот, казалось, шел из ее души.

– Так я и знал! – радостно вскричал Бенедикт. – Вы ее любите, жалеете, значит, нас не обманули – вы хотите ее видеть, вы готовы протянуть ей руку. Итак, мадемуазель, вы подтверждаете: все, что говорят об этом, – правда?

Валентина ни на минуту не усомнилась в искренности Бенедикта. Он затронул самую чувствительную струну ее души; излишнюю осторожность она сочла бы трусостью – таково свойство восторженного великодушия.

– Если вы, сударь, знаете, где она, – проговорила Валентина, в мольбе сжимая руки, – да благословит вас Господь открыть мне эту тайну!

– Возможно, я совершу проступок непростительный в глазах общества, так как при моем содействии вы нарушите дочерний долг. Однако я сделаю это без

угрызений совести! Дружеские узы, связывающие меня с этой особой, повелевают мне поступить именно так, а мое восхищение вами – порука тому, что вы никогда не бросите мне слово упрека. Еще нынче утром она прошла четыре лье по росе, по камням и пашне, закутавшись в крестьянский плащ, лишь бы взглянуть на вас, когда вы появитесь у окна или выйдете в сад. Она вернулась, так и не увидев вас. Угодно вам этим вечером вознаградить ее за труды и страдания всей ее жизни?

– Отведите меня к ней, сударь, заклинаю вас именем того, кто вам всего дороже на свете!

– Ну что ж, – сказал Бенедикт, – доверьтесь мне. Показываться на ферме вы не должны. Мои родные, очевидно, еще не вернулись, но батраки вас наверняка увидят, пойдут разговоры, и на следующий же день ваша матушка, узнав об этом посещении, вновь начнет преследовать вашу сестру. Разрешите, я привяжу вашу лошадь к дереву рядом с моей, и следуйте за мной.

Валентина легко соскочила на землю, не дожидаясь, пока Бенедикт предложит ей руку. Но тут же извечный женский инстинкт, предупреждающий об опасности и живущий даже в чистых душах, заговорил в ней – ее охватил страх. Бенедикт привязал лошадей под купой развесистых кленов. Затем он повернулся к Валентине и, не сдерживая чувств, воскликнул:

– О, как она обрадуется, она и не подозревает, как близко от нее счастье!

Эти слова окончательно успокоили Валентину. Она последовала за своим проводником по тропинке, поросшей травой, влажной от вечерней росы. Вскоре они добрались до конопляников, огороженных канавой. Через канаву была переброшена тоненькая дощечка, ходившая ходуном при каждом шаге. Бенедикт спрыгнул в канаву и поддерживал Валентину, пока она не перебралась на другую сторону.

– Ко мне, Перепел, а ну-ка, успокойся! – прикрикнул он на огромного пса, с ворчанием бросившегося к ним; но пес, признав хозяина, начал ластиться к нему, что, пожалуй, производило не меньше шума, чем недавнее его ворчание.

Бенедикт прогнал собаку пинком и повел свою взволнованную спутницу в сад при ферме, расположенный, по деревенскому обычаю, позади строений. Сад был

на редкость густым. Ежевика, розы, фруктовые деревья были посажены вперемешку и, не зная калечащих ножниц садовника, разрослись столь вольно, столь тесно переплели свои ветви над дорожками, что было затруднительно идти. Подол длинной юбки Валентины цеплялся за все колючки, глубокая тьма, создаваемая этой буйной растительностью, лишь усугубляла тревогу девушки, а жестокое волнение, которое она испытывала, лишало ее сил.

- Если вы дадите мне руку, - предложил ее провожатый, - мы дойдем скорее.

В суматохе Валентина потеряла перчатку, но вложила свою руку в ладонь Бенедикта. Для девушки ее круга такая ситуация была более чем странной. Юноша шагал впереди, осторожно увлекая ее за собой, раздвигал свободной рукой ветви, чтобы они не стегали по лицу его прелестную спутницу.

- Боже, да вы дрожите! - проговорил он, отпуская руку Валентины, когда они вышли на свободное пространство.

- Ах, сударь, я дрожу от радости и нетерпения, - отозвалась Валентина.

Им оставалось преодолеть последнее препятствие. У Бенедикта не оказалось при себе ключа от садовой калитки, а чтобы выбраться из сада, надо было перебраться через живую изгородь. Бенедикт предложил свою помощь Валентине, и ей пришлось ее принять. И тогда племянник фермера открыл свои объятия невесте графа де Лансака. Его трепетные руки коснулись очаровательной талии. Он ловил ее прерывистое дыхание, и путешествие их длилось довольно долго, потому что изгородь была широкая, щетинилась колючками, под ногой осыпались камни откоса, а главное, потому что Бенедикт утратил присутствие духа.

Но такова уж целомудренная робость юности! Его воображение не поспевало за действительностью, и страх погрешить против собственной совести сводил на нет ощущение счастья.

Подойдя к двери дома, Бенедикт бесшумно поднял щеколду, ввел Валентину в низкую комнату и в темноте нашарил очаг. Когда Бенедикт наконец зажег свечу, он указал мадемуазель де Рембо на деревянную лестницу, больше похожую на стремянку, и проговорил:

– Сюда!

А сам сел на стул в позе часового, умоляя Валентину не оставаться у Луизы больше четверти часа.

Утомленная утренней прогулкой, Луиза улеглась спать, как только стемнело. Комнатка, которую ей отвели, справедливо считалась самой плохой на ферме, но, так как Луизу выдавали за бедную родственницу из Пуату, которую Лери якобы опекали, она, боясь, что слуги заподозрят недоброе, отказалась поселиться в более уютном помещении. Она сама выбрала себе эту клетушку, из единственного окошка которой открывался прелестный вид – поля и островки, лежащие в излучине Эндра и утопавшие в пышной зелени деревьев. Хозяйева наспех смастерили ей более или менее приличную кровать из какого-то хромоногого одра. Здесь на решетке сушился горошек, с потолка свисали золотистые связки лука, клубки серой шерсти мирно дремали в убогих мотовилах. Воспитанная в богатстве, Луиза находила своеобразную прелесть во всех этих атрибутах сельской жизни. К великому удивлению тетушки Лери, она попросила, чтобы в ее комнатке оставили первозданный беспорядок, чисто деревенский хаос, напоминавший ей живопись Ван-Остаде[8 - Ван-Остаде Адриан (1610–1685) – голландский художник, ученик Гальса. Прославился преимущественно изображением жанровых сцен из сельской жизни, а также как график.] и Герарда Доу[9 - Герард Доу (1613–1675) – голландский художник-жанрист, ученик Рембрандта.]. Но больше всего пришлись ей по душе в этом скромном убежище выцветшие занавески с разводами и два расшитых старинных кресла с облезшей позолотой. Так уж распорядился случай, что эти вещи лет десять тому назад попали сюда из замка, и Луиза, видевшая их в детстве, сразу же признала старых знакомцев. Она залилась слезами и чуть было не расцеловала их как старинных друзей, вспоминая, как она, белокурая беспечная девочка, в счастливые дни неведения и навсегда утраченного покоя забивалась в уголок старого кресла, укрывалась в его уютных объятиях.

Этим вечером она уснула, машинально разглядывая на занавеске узоры, узнаваемые до мельчайших подробностей, пробуждавшие в ее памяти минувшую жизнь. После долгих лет изгнания душу ее с новой силой объяли былая боль и былые радости. Ей чудилось, будто бы только вчера произошли события, которые она оплакивала и искупала жестокими скитаниями, длившимися целых пятнадцать лет. Ей казалось, будто за этой занавеской, которую шевелил ветерок, врывающийся в приоткрытое окно, разворачивается волшебное действие из ее юных лет, чудилась башенка их старого замка,

столетние дубы-патриархи в огромном парке, ее любимица – белая козочка, поле, где она рвала васильки. Иной раз перед ней вставал образ бабушки, этой себялюбивой и добродушной старухи, и глаза ее застилала слезы, как в день своего изгнания. Но сердце старой женщины, умевшее любить лишь наполовину, навсегда закрылось для внучки, и образ, который мог бы принести утешение, таял, поселяя тревогу в душе и разуме.

В воображении Луизы рисовался лишь один чистый и дивный образ, образ Валентины, такой, какой помнила ее Луиза – прелестного четырехлетнего ребенка с длинными золотистыми локонами, с румяными щечками. Луизе виделось, будто бы Валентина пробирается, словно перепелочка, среди колосьев ржи, такой высокой, что она закрывает девочку с головой, чудилось, будто бы Валентина бросается к ней, заливаясь ласковым смехом, и смех этот, смех детства, невольно вызывает слезы у того, кто любим; вот Валентина закидывает за шею сестры свои пухлые белые ручонки и болтает с ребяческой наивностью о разных пустяках, представляющихся дитяти жизненно важными, болтает на своем бесхитростном, полном смысла, забавном языке, неизменно удивляющем и чарующем нас. За это время Луиза сама стала матерью, поэтому пора детства была ей мила не своей забавностью и беззаботностью, она пробуждала в ней новые ощущения, переполнявшие ее. Любовь к сыну разбудила былую привязанность к сестренке, и привязанность эта стала не только более сильной, но и подлинно материнской. Она представляла себе Валентину такой, какой оставила ее в день разлуки. Когда же ее уверяли, что Валентина стала красавицей и переросла саму Луизу, она не могла себе этого представить: в ее воображении та оставалась прежней малюткой Валентиной, и ей хотелось, как в былые времена, усадить девчушку себе на колени.

Этот светлый образ неизменно присутствовал во всех ее грезах с тех пор, как она решила любой ценой повидать сестру. В ту самую минуту, когда Валентина неслышно поднялась по лестнице и открыла люк, заменяющий дверь, Луиза все еще видела Валентину среди камышей, обступавших Эндр, видела Валентину, четырехлетнюю крошку Валентину, гонящуюся за большими голубыми стрекозами, лишь касавшимися поверхности воды и тут же взлетающими. Вдруг девочка упала в воду. Луиза попыталась было ее схватить, но тут появилась мадам де Рембо, эта гордая графиня, ее мачеха, заклятый ее враг, с силой оттолкнула Луизу, и ребенок утонул.

– Сестра! – приглушенно крикнула Луиза, стараясь высвободиться из-под власти мучительного кошмара.

– Сестра! – раздался незнакомый нежный голос, голос ангела из сновидений.

Луиза рывком поднялась на постели, и с ее длинных темных волос сползла шелковая косыночка. С беспорядочно рассыпавшимися по плечам кудрями, бледная, испуганная, освещенная светом луны, проскользнувшем украдкой в щель между занавесками, она тянулась навстречу окликнувшему ее голосу. Чьи-то руки обняли ее, свежие юные уста покрыли ее щеки безгрешными поцелуями. Озадаченная Луиза чувствовала на своем лице град поцелуев и слез, а Валентина, почти теряя сознание, истерзанная пережитыми волнениями, бессильно опустилась на постель рядом с сестрой. Когда Луиза поняла, что это не сон, что в объятиях она сжимает настоящую Валентину, которая пришла к ней, в ее прибежище, когда она поняла, что сердце сестры, как и ее собственное, преисполнено нежности и счастья, она сумела выразить свои чувства лишь объятиями и рыданиями. Наконец сестры обрели дар речи.

– Значит, это действительно ты! – воскликнула Луиза. – Та, о встрече с которой я так долго мечтала!

– Значит, вы, – откликнулась Валентина, – вы все еще любите меня?

– К чему это «вы», – сказала Луиза, – разве мы не сестры?

– О нет, вы мне также и мать, – возразила Валентина. – Я ничего не забыла. Вы так ярко запечатлелись в моей памяти, будто все происходило лишь вчера, я узнала бы вас во многотысячной толпе. О, это вы, это действительно вы! Вот они, ваши длинные темные волосы; мне так и кажется, что я вижу вас причесанной на прямой пробор, это они, ваши милые ручки, белые, маленькие, это ваше бледное личико. И я, я видела вас в мечтах именно такой.

– О Валентина, моя Валентина! Открой поскорее занавеску, чтобы я тоже могла тебя разглядеть. Все твердят, что ты стала настоящей красавицей, но на самом деле ты в сотни раз красивее, чем тебя описывали. Ты все такая же беленькая, вот они, твои голубые кроткие глаза, твоя ласковая улыбка! Ведь это я растила тебя, Валентина, помнишь? Это я старалась уберечь твое личико от загара и веснушек, это я каждый день расчесывала твои золотистые локоны; мне обязана ты, Валентина, своей красотой, ибо твоя мать тобой не занималась, одна я ни на минуту не спускала с тебя глаз...

– О, знаю, знаю! До сих пор я помню песенки, которыми вы меня убаюкивали, помню, что, проснувшись и открыв глаза, я всегда видела склонившееся надо мной ваше лицо. О, как же долго я оплакивала вас, Луиза! Как долго не могла привыкнуть, что нет вас рядом! Как долго не желала принимать чужой опеки! Матушка так и не простила мне того, что в ту пору я по-настоящему ненавидела ее, ибо кормилица твердила мне: «Твоя бедная сестрица ушла от нас, ее прогнала твоя мать». О Луиза, Луиза, наконец-то мы вместе!

– И больше мы с тобой не расстанемся, правда? – воскликнула Луиза. – Мы найдем способ встречаться, переписываться. Ты не дашь запугать себя угрозами, ведь мы не станем вновь чужими друг другу?

– А разве мы когда-нибудь были чужими? – отозвалась Валентина. – Никто не властен отдалить нас друг от друга. Видно, ты меня плохо знаешь, Луиза, раз считаешь, что тебя можно изгнать из моего сердца; ведь даже когда я была безропотным ребенком, и то не удалось это сделать. Но будь спокойна, наши беды кончились. Через месяц я выхожу замуж, мой будущий муж – человек нежный, мягкий, сердечный, разумный, с ним я часто говорила о тебе, и он принимает мою любовь к тебе. И он, безусловно, разрешит нам жить вместе. Тогда, Луиза, горе отступится от тебя, ты забудешь все свои беды, излив их на моей груди. Ты будешь воспитывать моих детей, если Бог пошлет мне счастье материнства, и нам будет казаться, будто мы сами оживаем в них... Я осушу твои слезы, посвящу тебе всю свою жизнь – лишь бы искупить те страдания, что выпали на твою долю.

– Благородное дитя, ангельская душа, – сказала Луиза, заливаясь счастливыми слезами, – сегодняшний день уже изгнал все плохое. Пойми, я не имею права роптать на судьбу, пославшую мне пусть даже один миг такой несказанной радости! Ведь ты уже сделала все, чтобы смягчить муки долгого моего изгнания. Вот, смотри, – сказала Луиза, вынимая из-под подушки нечто, аккуратно завернутое в кусок бархата, – узнаешь свои письма? Их четыре, ты писала их мне во время нашей разлуки. Я жила в Италии, когда получила от тебя вот это письмо, тебе тогда не было и десяти лет.

– Как же, помню, отлично помню! – подхватила Валентина. – Я тоже храню ваши письма. Сколько раз я их перечитывала, сколько пролила над ними слез! А вот это, посмотрите, я послала вам из монастыря. Как я трепетала, как дрожала от страха и радости, когда незнакомая женщина вручила мне в приемной письмо от вас! Передавая гостинцы якобы от имени бабушки, она незаметно сунула мне

конверт и многозначительно на меня поглядела. А через два года, когда мы жили под Парижем, я заметила у калитки женщину, по виду нищенку, и хотя видела ее раньше лишь мельком, сразу ее узнала. Я спросила: «Вы принесли мне письмо?», и она ответила: «Да, а завтра приду за ответом». Тогда я бросилась в свою комнату и заперлась там, но меня позвали и не спускали с меня глаз целый день. Вечером у моей постели с вязаньем в руках чуть не до полуночи сидела гувернантка. Я сделала вид, что сплю, и тогда она удалилась в свою комнату, но унесла свечу. Сколько трудов стоило мне раздобыть светильник и написать письмо! Я старалась не шуметь, чтобы не разбудить свою надзирательницу! Мне удалось это сделать, но я капнула чернилами на простыню, и как же меня допрашивали утром, как бранили, чем только не угрожали! И как бесстыдно я лгала, с каким легким сердцем перенесла наказание! Старуха пришла снова и предложила купить у нее козленочка. Я вручила ей письмо и вырастила козочку. Хотя козочку я получила не из ваших рук, как же я ее любила! О Луиза, быть может, вам я обязана тем, что сердце мое не зачерствело, и как ни старались родные с детства иссушить его, задушить в самом зародыше чувствительность, ваш бесценный образ, ваши нежные ласки, ваша доброта оставили в моей душе неизгладимый след. Как же я признательна за эти письма! Четыре ваших письма были четырьмя событиями в моей жизни, не прошедшими бесследно: каждое из них лишь укрепляло мое стремление быть доброй, укрепляло ненависть к нетерпимости, презрению к предрассудкам, и, смею сказать, каждое по-своему обогащало мою духовную жизнь. Луиза, сестра моя, это вы поистине сотворили меня, это вы меня воспитывали вплоть до сегодняшнего дня.

– Ты подлинный ангел чистоты и добродетели! – воскликнула Луиза. – Это я должна пасть перед тобой на колени...

– Быстрее, быстрее... – раздался голос Бенедикта внизу лестницы, – прощайтесь быстрее! Мадемуазель де Рембо, вас ищет господин де Лансак.

Валентина покинула комнату сестры. Появление господина де Лансака было приятной для нее неожиданностью, ей хотелось приобщить его к своей радости, но, к ее большому огорчению, Бенедикт сказал, что направил его по ложному пути и на все его расспросы отвечал, что, покинув праздник, ничего не слышал о

мадемуазель де Рембо. Бенедикт извинился, добавив в свое оправдание, что ему неизвестно отношение господина де Лансака к Луизе. Но в глубине души он испытывал какое-то недоброе удовлетворение при мысли, что незадачливый жених носится ночью по полям, а он, Бенедикт, охраняет его невесту.

– Возможно, моя ложь была неуклюжей, – продолжал Бенедикт, – но я лгал из самых лучших побуждений, да и к чему раскаиваться в содеянном? Простите, мадемуазель, но вам следует как можно скорее возвратиться в замок. Я провожу вас до ворот парка, а вы скажете домочадцам, что заблудились и без всякой посторонней помощи, лишь благодаря счастливому случаю, нашли дорогу.

– Разумеется, поскольку господин де Лансак, введенный в заблуждение, уехал, это, пожалуй, самое благоразумное, что можно сделать, – растерянно произнесла Валентина. – А что, если мы его встретим?

– Тогда я скажу ему, – живо подхватил Бенедикт, – что, разделяя его беспокойство, поскакал вас искать, и фортуна улыбнулась именно мне.

Валентина и в самом деле не без тревоги думала о всех последствиях сегодняшнего приключения, но, в конце концов, ничего не могла уже изменить. Луиза, накинув на плечи шубку, тоже спустилась по лестнице. Выхватив свечу из рук Бенедикта, она поднесла ее к лицу сестры, желая хорошенько разглядеть ее и полюбоваться ею.

– Бог мой! – восторженно воскликнула она, обращаясь к Бенедикту. – Посмотрите же, как прекрасна моя Валентина!

Валентина зарделась, а Бенедикт зарделся и того пуще. Луиза была слишком опьянена своей радостью и не заметила их смущения. Она осыпала сестру поцелуями, а когда Бенедикт чуть ли не силой вырвал Валентину из объятий Луизы, та обрушилась на него с упреками. Но тут же, уразумев, как несправедлив ее гнев, стремительно бросилась на шею своему юному другу, уверяя, что готова отдать всю свою кровь до последней капли, лишь бы отблагодарить его за это великое счастье.

– Дабы отблагодарить вас, я попрошу Валентину последовать моему примеру, – добавила она. – Валентина, не откажи тоже одарить сестринским поцелуем нашего Бенедикта за то, что он, повстречав тебя, вспомнил о бедняжке Луизе.

– Но это будет уже второй раз в течение одного дня, – краснея, возразила Валентина.

– И последний раз в моей жизни, – добавил Бенедикт, преклоняя колени перед юной графиней. – Пусть же второй поцелуй изгладит память о той муке, с какой достался мне первый, хотя вы в этом и неповинны.

Красавица Валентина уже обрела свою обычную безмятежность, однако на ее безгрешное чело легла тень, а взор устремился к небесам.

– Бог свидетель, – проговорила она, – поцелуй этот – порыв моей души и выражает всю глубину моего признания.

Склонившись к юноше, она легко коснулась его лба губами. Он не посмел ответить ей тем же, не посмел поцеловать даже кончики ее пальцев.

Бенедикт поднялся с неизъяснимым чувством уважения и гордости. Никогда еще не доводилось ему ощущать такой сладостной неги, такого трепетного волнения, разве что в тот день, когда он, набожный и благочестивый подросток, пошел к первому причастию, – то был прекрасный день, напоенный благоуханием ладана и распускавшихся цветов.

Они покинули сад фермы тем же путем, и на сей раз Бенедикт, шедший впереди Валентины, чувствовал себя совершенно спокойным. Поцелуй как бы связал их священными братскими узами. Обоюдное доверие росло с каждой минутой, и когда они распрощались у ворот парка, Бенедикт дал слово как можно скорее передать Валентине весточку от Луизы.

– Я не смела вас просить, – призналась Валентина, – однако же, одному Богу известно, как я этого хочу. Но матушка слишком строго придерживается светских условностей!

– Я готов снести любое унижение, лишь бы услужить вам, – ответил Бенедикт, – и скажу не хвалясь, что не остановлюсь ни перед чем, но никого не поставлю в неловкое положение.

Он отвесил глубокий поклон и исчез во мраке.

Валентина подъехала к дому по самой темной аллее парка, но вскоре она заметила пробивающийся сквозь листву свет и движущиеся огни факелов. Все в доме были встревожены, и графиня, которая готова была чуть ли не целовать руки кучеру, учинила разнос лакею, унижалась перед одними, гневно кричала на других, рыдала как мать, и тут же командовала всеми как истая королева. Пожалуй, впервые в жизни она взывала к милосердию чужих людей, ожидая от них помощи. Но, узнав топот иноходца Валентины, вместо того чтобы радоваться, она впала в ярость, подавляемую до сих пор тревогой. Дочь прочла в материнских глазах лишь злобу из-за того, что ей посмели причинить такие страдания.

– Откуда вы явились? – громко крикнула она, вцепившись в Валентину с такой силой, что та чуть не рухнула с лошади. – Вам, как я вижу, нравится играть моими чувствами! А вы не подумали, что выбрали весьма неудачный момент, чтобы мечтать при луне, блуждая по дорогам? Неужели, по-вашему, прилично заставлять ждать себя в такой поздний час, заставлять меня выносить все ваши капризы, когда я изнемогаю от усталости? Так-то вы уважаете родную мать, я не говорю уже о дочерней любви!

Она повлекла Валентину за собой в гостиную, осыпая ее самыми горькими упреками и самыми жестокими обвинениями. Валентина бормотала что-то в свое оправдание; она радовалась, что ее избавили от необходимости давать объяснения по поводу столь долгой отлучки, что потребовало бы от нее немалого присутствия духа. В гостиной бабушка попивала чай и, увидев внука, протянула к ней обе руки.

– Наконец-то, детка! А знаешь, сколько беспокойства причинила ты матери? Я была уверена, что ничего дурного с тобой не могло случиться в нашей округе, где все почитают имя, которое ты носишь. Поди поцелуй меня, и забудем все. Ты нашлась, и ко мне вернулся аппетит. После этой тряски в карете я, оказывается, чертовски проголодалась.

С этими словами старуха маркиза, сохранившая до сих пор все зубы, откусила кусочек гренка, которые на английский манер готовила ей компаньонка. Достаточно было поглядеть, как возится компаньонка с этими гренками, чтобы понять, сколь требовательна маркиза в части приготовления еды. Тем временем графиня, чья гордыня и бешеный нрав были в лучшем случае неистребимыми пороками слишком впечатлительной души, теряя сознание от избытка чувств,

рухнула в кресло.

Валентина бросилась к матери, опустилась перед ней на колени, распустила шнуровку на корсете и стала покрывать ее руки поцелуями, обливая их слезами. При виде материнских страданий она искренне раскаялась в том, что наслаждалась счастьем нежданной встречи с сестрой. Маркиза поднялась из-за стола, почти не скрывая досады, что ей пришлось прервать ужин; легко и проворно она подошла к невестке и стала хлопотать возле нее, уверяя, что все обойдется.

Открыв глаза, графиня оттолкнула Валентину, твердя, что дочь слишком ее огорчила и поэтому ее забота неискренняя. Несчастливая девушка, заламывая руки, все еще рыдала, молила о прощении, но ей строго приказали немедленно идти спать и отказали в материнском поцелуе.

Маркиза, которой нравилось играть роль ангела-хранителя семейства Рембо, опираясь на руку внучки, проводила ту до спальни и, поцеловав на прощание в лоб, сказала:

– Ну, ну, малышка, не расстраивайся так. Твоя мать весь вечер была в дурном настроении, но это пустяки... Нечего тебе печалиться, не то завтра у тебя лицо будет красным, а это вряд ли понравится нашему милейшему де Лансаку.

Валентина попыталась улыбнуться, но, очутившись в своей спальне, сразу же бросилась на постель, изнемогая от горя, счастья, усталости, страха, надежды – такое множество чувств теснилось в ее сердце.

Через час в коридоре раздались шаги и звон шпор, известивший о появлении де Лансака. Маркиза, никогда не ложившаяся раньше полуночи, зазвала его в свои покои, и Валентина, услышав их голоса, тоже проскользнула в бабушкину спальню.

– Ого! – произнесла маркиза с веселым лукавством старости, не склонным щадить щепетильность девичества, ибо старость уже не знает этих чувств. – Я была уверена, что эта плутовка не спит, а ждет своего жениха, наострив ушки, и сердечко у нее бьется. Да, дети мои, вижу, что следует как можно быстрее вас поженить.

Слова бабушки меньше всего отражали спокойную, исполненную достоинства привязанность, которую Валентина питала к де Лансаку. Она недовольно покраснела, но почтительное и кроткое выражение лица жениха успокоило ее.

– Я и в самом деле не могла уснуть, – произнесла она, – не испросив прощения за все то беспокойство, что причинила вам.

– Когда любишь человека, – ответил де Лансак с обычной своей неподражаемой обходительностью, – милы даже муки, что он тебе причиняет.

Валентина ушла к себе, смущенная и взволнованная. Она сознавала, что виновата перед господином де Лансаком, пусть даже невольно, ей не терпелось признаться ему во всем, и она досадовала, что лишь утром ей удастся поделиться с ним сокровенным. Будь Валентина натурой не столь деликатной, знай она лучше свет, она воздержалась бы от подобных излишней.

Во время вечернего приключения на долю господина де Лансака выпала весьма незавидная роль, и, хотя помыслы Валентины были поистине невинны, этому светскому человеку не так уж легко было бы чистосердечно простить свою невесту, которая, сговорившись с посторонним, обманула его. И Валентина краснела при мысли, что стала соучастницей обмана, введшего в заблуждение ее будущего мужа.

На следующее утро она поспешно спустилась в гостиную, где ее поджидал господин де Лансак.

– Эварист, – начала она без обиняков, – у меня на сердце тайна, и она тяготит меня – я обязана сказать вам все. Если я виновата, пожурите меня, но вы не сможете упрекнуть меня в нечестности.

– О Боже мой, дорогая Валентина, как вы меня перепугали! Что означает столь торжественное вступление? Подумайте только, в какое положение вы поставите нас обоих... Нет, нет, не желаю ничего слышать. Ведь сегодня я расстаюсь с вами, меня призывает служебный долг, и там, вдали от вас, я буду печально ждать конца бесконечно длинного месяца, препятствующего моему счастью. Именно поэтому я и не желаю омрачить сегодняшней и без того печальный день вашей исповедью, которая, как видно, дастся вам нелегко. Что бы вы мне ни сказали, какое бы «преступление» ни совершили, заранее прощаю вас.

Послушайте меня, Валентина, ваша душа слишком прекрасна, жизнь ваша слишком чиста, дабы я дерзнул взять на себя роль исповедника.

– Моя исповедь ничуть не огорчит вас, – возразила Валентина, приободренная разумными доводами жениха. – Если даже вы обвините меня в неосмотрительности, я уверена, вы порадуетесь вместе со мной событию, которое переполняет меня счастьем. Я нашла свою сестру.

– Тише! – шепнул господин де Лансак с комическим ужасом. – Не произносите здесь ее имени! Ваша матушка и без того что-то подозревает, и это приводит ее в отчаяние. А что будет, великий Боже, если она узнает, как далеко все зашло? Поверьте мне, дорогая моя Валентина, храните эту тайну в глубине своего сердца и не говорите о ней даже со мной. Иначе я не смогу так успешно убеждать вашу матушку в обратном, как мне удавалось это до сих пор делать с вполне невинным видом. И к тому же, – добавил он с улыбкой, смягчавшей суровый смысл его слов, – я еще не ваш повелитель, иными словами, не ваш защитник, и посему не советовал бы вам учинять акт открытого мятежа, противиться материнской воле. Подождите месяц. Он покажется вам не столь тоскливо долгим, как мне.

Валентина, которой не терпелось облегчить свою душу, поведать тайну и открыть весьма щекотливые обстоятельства, безуспешно настаивала на своем. Господин де Лансак не желал ничего слушать, и в конце концов ему удалось убедить Валентину в том, что она не обязана ему ничего сообщать.

Истина же заключалась в следующем: господин де Лансак родился в знатной семье, занимал важный дипломатический пост; он был умен, обаятелен и хитер, но запутался в долгах и ни за что на свете не согласился бы отказаться от руки и состояния мадемуазель де Рембо. Живя в вечном страхе не угодить либо матери, либо дочери, он тайком вступал в сговор и с той и другой, потакал их капризам, делал вид, что разделяет чувства и мнения каждой, и, ничуть не интересуясь историей с Луизой, твердо решил не вмешиваться в семейные дела, пока не сможет собственной властью направить их как ему желательно.

Валентина приняла осторожность господина де Лансака за молчаливую поддержку и, успокоившись на сей счет, обратилась помыслами к грозе, которая неминуемо должна была разразиться при встрече с матерью.

Накануне вечером пронырливый и подлый лакей, уже распустивший слухи о появлении Луизы, вошел в спальню графини якобы за тем, чтобы подать ей лимонад, и между ними состоялась следующая беседа.

9

– Мадам велели мне вчера навести справки о...

– Довольно. Никогда не произносите при мне этого имени. Удалось вам что-нибудь узнать?

– Да, мадам, думаю, что я на верном пути.

– Тогда говорите.

– Не осмелюсь утверждать, мадам, что все так и есть, как я предполагаю. Но одно мне известно: на ферме Гранжнев около трех недель проживает женщина, которую дядюшка Лери выдает за свою племянницу и которая, по-моему, и есть та, кого мы ищем.

– А вы ее видели?

– Нет, мадам. Впрочем, я не знаю мадемуазель... и никто из местных не знает.

– А что говорят крестьяне?

– Кто говорит, что это действительно родственница Лери, недаром же, по их словам, одевается она не как барышня, да и живет у них в комнатке для прислуги. Они полагают, будь это мадемуазель... ее на ферме иначе бы приняли. Мадам знает, как Лери ей преданны.

– Совершенно верно. Тетушка Лери была ее нянькой еще в те времена, когда рада была заработать себе на пропитание. Но что говорят другие? Как случилось, что никто из здешних жителей не может с уверенностью сказать, она

это или нет, хотя все ее знали раньше?

– Во-первых, в Гранжневе мало кто видел ее, там место глухое. Да она почти и не выходит из дому, а если выходит, то накидывает плащ – поговаривают, что она больна. Те, что с ней встречались, не успели ее как следует разглядеть, к тому же, с их слов, пятнадцать лет назад они видели пухленькую да румяную барышню, а эта худая и бледная. Такие вещи выяснить трудно, тут надо действовать умело и настойчиво.

– Я дам вам сто франков, Жозеф, если вы распутаете это дело.

– Достаточно одного приказания мадам, – ответил лакей лицемерно-смирненным тоном. – Но пусть мадам не посетует, если я не добьюсь успеха так быстро, как бы ей хотелось. Должен заметить, что здешние крестьяне – народ лукавый, недоверчивый, а главное, до того зловредный, что забывают свои старинные обязанности и до смерти рады поступить наперекор вашей воле...

– Знаю, что они меня не любят, и лишь радуюсь этому. Ненависть этих людей меня не тревожит, напротив, только делает мне честь. Но разве мэр не велел привести к себе эту незнакомку и не расспросил ее?

– Мадам известно, что мэр – родич Лери, он двою родный брат фермера, а в этой семейке все друг за дружку держатся, спелись, как воры на ярмарке...

Жозеф даже улыбнулся собственному красноречию и остроумию. Графиня не снизошла до его переживаний и продолжила:

– Действительно, это недопустимо: должность мэра занимает крестьянин, это дает всем им перед нами осязаемое преимущество!

«Надо бы, – подумала она, – заняться этим вопросом и сменить мэра, пускай-ка мой зять возьмет на себя труд найти ему замену. А пока его обязанности лягут на помощников мэра».

Решив так, графиня вернулась к прежнему разговору и сделала весьма здравое замечание, которое подсказывает человеку лишь внезапное озарение – плод ненависти.

– Есть еще одно средство, – проговорила она. – Можно послать на ферму Катрин и потом заставить ее все рассказать.

– Это кормилицу-то мадемуазель Валентины! Да мадам и не подозревает, какая она хитрюга. Возможно, она и так знает больше, чем показывает.

– Но должен же, в конце концов, существовать какой-нибудь способ! – с раздражением произнесла графиня.

– Если мадам разрешит мне действовать по своему усмотрению...

– Конечно разрешу.

– В таком случае, надеюсь завтра же узнать то, что интересует мадам.

На следующий день, в шесть часов утра, когда в дальнем конце долины зазвонили к ранней обедне, а солнце позолотило все крыши в округе, Жозеф направился к самой уединенной, но и лучше всего обрабатываемой части долины. Здесь лежали земли Рембо, плодородный участок, некогда объявленный национальным имуществом, затем выкупленный при Империи на приданое мадемуазель Шиньон, дочери богатого мануфактуриста, на которой вторым браком женился генерал, граф де Рембо. Император любил сочетать древние имена и новые состояния; этот брак был заключен по его высочайшему повелению, и новоявленная графиня вскоре превзошла в гордыне старинную знать, которую люто ненавидела, решив, однако, любой ценой завладеть и титулами, и привилегиями.

Отправляясь на ферму и боясь спугнуть ее обитателей, лакей выдумал довольно хитроумный повод для своего появления там. У него в запасе было немало проделок, не хуже, чем у самого Скапена[10 - Скапен – главный герой фарса Мольера «Проделки Скапена» (1671).], с помощью которых ничего не стоило одурачить простоватых фермеров, но, на свою беду, первым, кого он встретил, подходя к ферме, был Бенедикт, человек еще более тонкий и недоверчивый, чем сам Жозеф. Юноша тотчас же припомнил, что недавно на каком-то деревенском празднике уже видел этого субъекта, который, хоть и явился в черном фраке и старался поразить светскостью манер пивших с ним пиво фермеров, был ими высмеян как лакей, коим он и являлся. Бенедикт сразу смекнул, что необходимо увести подальше от фермы этого опасного соглядатая, и, рассыпаясь в

любезностях, приправленных немалой дозой иронии, чуть ли не силком потащил его осматривать виноградник, расположенный на отшибе. При этом он делал вид, что безоговорочно верит словам Жозефа, заявлявшего, что он-де главный управитель замка и доверенное лицо господ де Рембо, и с притворным вниманием слушал его болтовню. Жозеф, желая разузнать как можно больше, разговорился, и уже через десять минут его намерения и планы стали для Бенедикта яснее ясного. Поэтому юноша держался настороже и поспешил рассеять все сомнения Жозефа относительно Луизы, притом с таким простодушным видом, что окончательно привел лакея в замешательство. Тем не менее Бенедикт понимал, что всего этого недостаточно, что следует раз и навсегда положить конец нечистым проискам этого соглядатая, и тут его осенило, как лучше лакея обезвредить.

– Ей-богу, господин Жозеф, – проговорил он, – до чего же я рад, что мы встретились. У меня как раз есть для вас одно интересное дельце.

Жозеф наострил свои огромные, истинно лакейские уши – подвижные, умеющие схватывать все на лету и ждать подходящего момента, словом, такие уши, от которых ничто не ускользнет.

– Шевалье де Триго, – продолжал Бенедикт, – помещик, живет отсюда в трех лье и столь жестоко изводит зайцев и куропаток, что после него лучше с ружьем и не ходи. Так вот, он мне позавчера говорил (мы с ним как раз подстрелили в кустах штук двадцать перепелок, ибо сей доблестный немврод[11 - Немврод – библейский персонаж, царь, бывший неустрашимым охотником. Имя его стало нарицательным для обозначения страстного любителя охоты.] такой же заядлый браконьер, как и любой лесничий), так вот, он сказал мне позавчера, что был бы счастлив иметь в услужении такого расторопного человека, как вы.

– Неужели господин Триго так и сказал? – не без волнения переспросил Жозеф.

– Конечно, – подтвердил Бенедикт. – Человек он богатый, не мелочный, даже, пожалуй, щедрый, ни во что не вмешивается, любит только охоту да пиры, строг со своими гончими, ласков со своими слугами, ненавидит домашние дразги, хотя обкрадывают его с тех пор, как он появился на свет божий, да и грех его не обкрадывать. Такой человек, как вы, получивший должное воспитание, мог бы вести все его счета и пресечь злоупотребления в доме. Такой человек не противоречил бы хозяину, когда тот встает из-за стола; такой человек, как вы, шутя мог бы добиться всего от столь покладистого хозяина, мог бы царить в

доме и получать в четыре раза больше, чем у графини де Рембо. А ведь вам при желании ничего не стоит получить все эти блага! Господин Жозеф, немедленно идите к шевалье и представьтесь ему.

– Иду, и немедля! – воскликнул Жозеф, который уже слышал об этом месте и считал его весьма выгодным.

– Пойдите-ка, – задержал его Бенедикт, – надо вам сказать, что из-за моей страсти к охоте, а главное, благодаря высокой репутации нашей семьи, добрый шевалье весьма и весьма расположен к нам, и если кто-нибудь будет иметь несчастье не понравиться мне или повредит кому-нибудь из наших, его даже на порог не пустят.

Тон, каким была произнесена эта фраза, заставил Жозефа взглянуть на все иначе. Вернувшись в замок, он заверил графиню, что все эти предположения – сплетни, сумел выманить у нее сто франков в награду за свое усердие и хлопоты и спас Валентину от мучительного допроса, которому собиралась подвергнуть ее мать. А через неделю он поступил на службу к шевалье де Триго, которого не обокрадывал (Жозеф был слишком умен, а хозяин слишком глуп, чтобы стоило красть у него открыто), а просто грабил, присваивая добро его, как в завоеванной стране.

Боясь не угодить Бенедикту, хитроумный Жозеф простер свою преданность ему до того, что дал графине ложные сведения о местопребывании Луизы. Через три дня он без труда обвел вокруг пальца мадам де Рембо, выдумав новую сказку об отъезде Луизы. Поменяв место, он сумел сохранить доверие прежней хозяйки. Впрочем, когда он занял новую должность, мадам де Рембо вскоре окончательно забыла и его самого, и его наветы. Маркиза, любившая Луизу так, как не любила никого на свете, тоже приступила к Валентине с расспросами. Но девушка слишком хорошо знала нестойкий характер бабки, ее легкомыслие, и не решилась поверить столь великую тайну любящему, но слабому сердцу. Господин де Лансак уехал, и в Рембо, где через месяц решено было сыграть свадьбу, остались три женщины. Луиза, которая, в отличие от Валентины, не очень верила в добрые намерения господина де Лансака, решила воспользоваться благоприятным случаем и, зная, что сестра получит перед свадьбой относительную свободу, надеялась видеться с ней чаще. И вот через три дня после деревенского праздника Бенедикт, которому она вручила для передачи письмо, явился в замок.

Гордый и высокомерный, он ни за какие блага мира не пришел бы сюда по делам дяди, но ради Луизы, ради Валентины, ради этих двух женщин, к которым он испытывал такую привязанность, что не мог даже подобрать достойных слов, – ради них обеих он счел себя обязанным вынести презрительные взгляды графини и покровительственную любезность маркизы. Был знойный день, и он знал, что в жару Валентина не выйдет из дома. Бенедикт захватил набитый дичью ягдташ, надел простую блузу, соломенную шляпу и гетры, словом, замаскировался под сельского охотника и отправился в путь, уверенный, что такой облик не вызовет у графини столь сильного раздражения, как изысканный городской наряд.

Валентина сидела в своей комнате и писала. Возможно, смутное предчувствие заставляло дрожать ее руку, но, выводя строки, адресованные сестре, она всем своим существом ощущала, что гонец, которому поручено доставить Луизе письмо, уже недалеко. При любом обычном для деревни шуме, будь то конский топот или лай собаки, она вздрагивала, вскакивала с места и бросалась к окну, призывая в сердце своем Луизу и Бенедикта, ибо в Бенедикте для нее словно воплотилась – вернее, так ей казалось, – часть души Луизы, отторгнутой от нее.

Когда наконец ее утомило это неодолимое волнение, когда она захотела отвлечься, слух ее вновь очаровал прекрасный чистый голос, голос Бенедикта, который она уже слышала ночью на берегах Эндра. Перо выпало из ее пальцев. С восхищением внимала она наивной, незатейливой мелодии, от которой напрягся каждый ее нерв. Голос Бенедикта доносился с тропинки, огибавшей ограду парка и спускавшейся с крутого пригорка. Отсюда, с этой высоты, голос певца, перелетавший через верхушки деревьев, был отчетливо слышен. Он выводил слова деревенской песенки, очевидно желая предупредить Валентину о своем появлении:

Послушай, пастушка Соланж,

Призывную горлинки песню...

По натуре Валентина была весьма романтической особой, сама, впрочем, об этом не догадываясь, ибо девичье сердце еще не познало любви. Но в те минуты, когда она бестрепетно предавалась чистому, целомудренному чувству, она становилась беззащитной, жаждала всего, что хоть отдаленно напоминало приключение. Воспитанная в строгости, приученная соблюдать холодные и чопорные обычаи, так редко имела она случай наслаждаться свежестью чувств и

поэзией, свойственной ее возрасту!

Прячась за гардиной, она вскоре заметила Бенедикта, спускавшегося с пригорка. Никто не назвал бы Бенедикта красавцем, но изящество его фигуры бросалось в глаза. Деревенский костюм, который он носил не без театральности, легкий, уверенный шаг по самому краю обрыва, огромный белый пес в рыжих подпалинах, прыгавший вокруг хозяина, а особенно песня – призывная и захватывающая – с лихвой восполняли не идеальное по красоте лицо. Появления юноши на фоне этого сельского пейзажа, который в силу ухищрений искусства, этого извечного грабителя природы, походил на оперную декорацию, оказалось вполне достаточно, чтобы смутить юную головку и придать волнующий оттенок загадочности простой церемонии доставки письма.

Валентину так и подмывало сбежать в парк, открыть калитку, выведившую на тропку, по которой шел посланник, нетерпеливо протянуть руку за письмом – она почти не сомневалась, что его несет Бенедикт. Но это был бы довольно опрометчивый поступок. Мысль более похвальная, нежели предчувствие опасности, удержала ее: она побоялась дважды нарушить семейные запреты, идя навстречу приключению, отказаться от которого, однако, была не в силах.

Итак, она решила ждать второго сигнала, чтобы спуститься вниз, и вскоре весь замок огласил злобный собачий лай. Это Бенедикт стравил своего пса с хозяйским, желая объявить о своем приходе как можно более шумно.

Валентина быстро спустилась вниз; интуиция подсказала ей, что Бенедикт предпочтет обратиться к маркизе, так было бы естественнее. Поэтому-то Валентина поспешила к бабушке, которая любила подремать на канapé в салоне, и, осторожно разбудив старушку, под каким-то предлогом уселась с ней рядом.

Через несколько минут слуга доложил, что пришел племянник Лери и просит разрешения предстать перед маркизой, засвидетельствовать ей свое почтение и преподнести дичь.

– Без его почтения я уж как-нибудь обойдусь, – ответила старая сумасбродка, – а вот дичину приму охотно. Пусть войдет.

При виде юноши – своего соучастника, присутствие которого она сама поощрила, ибо намеревалась получить от него и вручить ему на глазах у бабушки секретное послание, – Валентина почувствовала укоры совести. Она невольно покраснела, и отсвет ее румянца как бы пал на щеки Бенедикта.

– Ах, это ты, мой мальчик! – произнесла маркиза, положив на софу свою коротенькую пухлую ножку жестом жеманницы времен Людовика XV. – Входи, будешь гостем. Ну, как у вас на ферме дела? Как тетушка Лери и твоя миленькая кухня? Как все прочие?

Не утруждая себя выслушиванием ответа, она погрузила руку в ягдташ, который Бенедикт сбросил с плеча.

– О, действительно, дичь чудесная! Ты сам ее подстрелил? Я слыхала, что благодаря твоему попустительству Триго браконьерствует потихоньку на наших землях. Но за такую добычу ты заслуживаешь полного отпущения грехов...

– А вот эта случайно попала в мои силки, – сказал Бенедикт, вынимая из-за пазухи живую синичку. – Так как это очень редкая разновидность синицы, я подумал, что мадемуазель присоединит ее к своей коллекции, поскольку она увлекается естественными науками.

Передавая птичку Валентине и делая вид, будто боится упустить свою пленницу, он действовал с наигранной осторожностью и медлительностью. А сам, воспользовавшись благоприятным моментом, сумел передать письмо. Валентина отошла к окну, как бы намереваясь получше разглядеть синичку, и незаметно спрятала письмо в карман.

– Но тебе, должно быть, жарко, милый? – сказала маркиза. – Поди в буфетную, выпей там чего-нибудь, освежись.

Валентина заметила, что на губах Бенедикта промелькнула высокомерная улыбка.

– Может быть, вы предпочли бы выпить воды с гранатовым соком? – живо спросила она.

И, взяв графин, стоявший на столике за спиной маркизы, она налила напиток в стакан, чтобы собственноручно попотчевать гостя. Поблагодарив ее взглядом, Бенедикт обогнул софу и взял стакан, счастливый уже тем, что может притронуться к хрусталию, которого коснулась белоснежная ручка Валентины.

Маркиза вдруг закашлялась, и Бенедикт быстро и тихо спросил Валентину:

– Что ответить на просьбу, заключающуюся в этом письме?

– Какова бы ни была эта просьба, ответьте «да», – сказала Валентина, испуганная его смелостью.

Бенедикт обвел внимательным взглядом богато и изящно убранный салон – ясные, как родниковая вода, зеркала, натертый до блеска паркет, изысканные и роскошные вещицы, о назначении которых на ферме даже не имели представления. Не впервые попадал он в богатый дом, и сердце его не стиснула зависть при виде всех этих безделушек, подарков фортуны, что непременно случилось бы с Атенаис. Тем не менее ему невольно пришла в голову мысль, ранее никогда его не посещавшая: общество воздвигло между ним и мадемуазель де Рембо неодолимую преграду.

«К счастью, – подумал он, – встречи с ней не сулят мне ни опасностей, ни страданий. Никогда я не влюблюсь в нее».

– Ну что ж, девочка, сядь за фортепьяно и спой опять тот же романс, который ты не успела мне давеча допеть.

Старуха маркиза прибегла к этой ловкой выдумке, желая дать понять Бенедикту, что тому пора идти в людскую.

– Дорогая бабушка, – возразила Валентина, – вы же знаете, какая я певица, но если вы любите хорошее пение, если хотите получить истинное удовольствие, попросите спеть нашего гостя.

– Вот как? – удивилась маркиза. – Но откуда ты это знаешь, внучка?

– Мне говорила Атенаис, – ответила Валентина, потупив взор.

– Что же, если это верно, мой мальчик, доставь мне это удовольствие, – сказала маркиза, – попотчуй меня деревенской песенкой. Пусть уши мои отдохнут от этого Россини, в котором я ровно ничего не смыслю.

Бенедикт слегка смутился при мысли, что на звук его голоса в гостиную может явиться гордячка графиня, но он был тронут стараниями Валентины, стремившейся удержать его здесь подольше и даже усадившей в кресло, ибо маркиза, при всей своей снисходительности к простому люду, ни за что на свете не решилась бы предложить племяннику своего фермера присесть в ее присутствии.

Крышку фортепьяно открыли. Валентина села, поставив рядом со своим складным стулом второй – для Бенедикта. Но Бенедикт, стремясь показать ей, что не заметил обиды, предпочел петь стоя.

С первых же нот Валентина покраснела, затем побледнела, слезы навернулись ей на глаза. Однако постепенно она успокоилась, пальцы заскользили по клавишам, мелодия звучала в унисон пению, которому девушка с восторгом внимала.

Сначала маркиза слушала певца с удовольствием. Но так как дух праздности не позволял ей долго сидеть на одном месте, она вышла из гостиной, потом вошла, потом снова вышла.

– Эту песню, – проговорила Валентина, оставшись в одну из этих отлучек наедине с Бенедиктом, – особенно часто пела мне сестра, когда я была еще ребенком, и я нарочно просила Луизу сесть на самую вершину холма, чтобы послушать, как эхо повторяет ее голос. Я запомнила эту песню навсегда, и сейчас, когда вы затянули ее, я чуть было не заплакала.

– Я запел ее с умыслом, – ответил Бенедикт, – я как бы говорил с вами от имени Луизы...

Но имя это замерло на губах Бенедикта, так как в гостиную вошла графиня. При виде дочери в обществе незнакомого юноши она окинула обоих удивленным взглядом. Сначала она не узнала Бенедикта, на которого даже не взглянула во время праздника, и от неожиданности застыла на месте. Потом, признав в нем своего дерзкого вассала, осмелившегося запечатлеть поцелуй на щеке ее дочери, она, бледная и трепещущая, шагнула вперед, попыталась было заговорить, но внезапные спазмы сдавили ей горло, что уберегло Бенедикта от ее гневной вспышки. Серая борзая графини дерзко приблизилась к охотничьему псу Бенедикта, пыльному, тяжело дышавшему от жары, – он, не церемонясь, разлегся под фортепьяно. Этот рассудительный и спокойный пес по кличке Перепел дал обнюхать себя с головы до ног и в ответ на все оскорбительные действия хозяйки только молча демонстрировал в оскале свои длинные белые клыки. Но когда высокомерная и неучтивая борзая решила перейти к оскорблению действием, Перепел, не спускавший обиды никому, только что отбившийся во дворе замка от нападков трех догов, поднялся и повалил свою изящную противницу на пол. Борзая с жалобным визгом бросилась к хозяйке, ища защиты. Это происшествие дало Бенедикту возможность ретироваться, под благовидным предлогом увести с глаз растерявшейся графини дерзкого Перепела якобы затем, чтобы задать ему трепку, хотя в душе юноша благодарил пса за его достойное поведение.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

Арпан – старинная французская единица измерения длины, равняющаяся 180 парижским футам, то есть примерно 58,52 м.

Комментарии

1

Сен-Симон Анри-Клод (1760–1825) – французский философ, один из основоположников утопического социализма.

2

...Война гугенотов с католиками. – Гугеноты – сторонники кальвинизма во Франции в XVI–XVIII вв., приверженцы одного из течений религиозной реформации. Религиозные войны гугенотов с католиками происходили в 1562–1594 годах и в конце концов привели к изгнанию гугенотов и почти полному искоренению протестантства во Франции.

3

...Первое мая у жителей Черной долины считается праздничным днем... – Обычай праздновать первое мая в Западной Европе очень древнего происхождения: он восходит к празднику весны и возрождения природы. Праздник этот заключался в плясках и играх молодежи вокруг разукрашенного «майского дерева» и в выборе из числа самых красивых юношей и девушек майского короля и майской королевы.

4

...начиная с супрефекта департамента... – Деление территории Франции на департаменты (взамен старого – на провинции) было установлено в эпоху французской революции. Департамент представлял меньшую территориальную единицу, чем провинция. Во время консульства Наполеона местное самоуправление департаментов было ликвидировано, во главе их были поставлены назначаемые центральной властью префекты, а во главе округов, на которые делились департаменты, – супрефекты, осуществлявшие только исполнительную власть под непосредственным руководством и наблюдением префектов.

5

...апартаменты Жозефины и Марии-Луизы... – Жозефина и Мария-Луиза – императрицы Франции. Мария-Луиза (1791–1847) – дочь австрийского императора Франца I, вступившая в брак с Наполеоном в 1810 году, после его развода с Жозефиной. После низложения Наполеона удалилась во владения отца, сохранив, как и Жозефина, титул императрицы.

6

Кенкет – старинная масляная лампа с горелкой, расположенной под резервуаром.

7

...Духи Манфреда... – Манфред – герой одноименной философской поэмы Байрона. Проникнув в тайны природы, он подчиняет себе силой магии духов стихий, но бессилён заставить их служить человечеству.

8

Ван-Остаде Адриан (1610–1685) – голландский художник, ученик Гальса. Прославился преимущественно изображением жанровых сцен из сельской жизни, а также как график.

9

Герард Доу (1613–1675) – голландский художник-жанрист, ученик Рембрандта.

10

Скапен – главный герой фарса Мольера «Проделки Скапена» (1671).

11

Немврод – библейский персонаж, царь, бывший неустрашимым охотником. Имя его стало нарицательным для обозначения страстного любителя охоты.

Купить: <https://tellnovel.me/ru/zhorzh-sand/valentina>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)